



Азбука Premium

Айрис Мердок

Море, море

«Азбука-Аттикус»

1978

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Мердок А.

Море, море / А. Мердок — «Азбука-Аттикус»,
1978 — (Азбука Premium)

Классический, удостоенный Букеровской премии роман «самой английской писательницы» XX века, одна из вершин психологической прозы автора. Герой книги Чарльз Эрроуби, режиссер, немного актер и немного драматург, уходит на покой в зените славы. Он отрекается от волшебства театра, чтобы стать отшельником. Правда, он – отшельник-сибарит и живет не в пещере, а на комфортабельной вилле на берегу моря. Профессионал до мозга костей, Эрроуби и здесь не может отказать себе в удовольствии срежиссировать жизнь окружающих его людей в прекрасных декорациях морского пейзажа. «Море, море» – роман о море страстей человеческих.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

© Мердок А., 1978
© Азбука-Аттикус, 1978

Содержание

Предыстория	6
История 1	59
История 2	72
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Айрис Мердок Море, море

Iris Murdoch
THE SEA, THE SEA

Copyright © Iris Murdoch, 1978

© М. Лорие (наследник), перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

Предыстория

Море, которое раскинулось передо мною сейчас, когда я пишу эти строки, не сверкает, а скорее рдеет в мягком свете майского солнца. Начался прилив, и оно тихо льнет к земле, почти не тронутое рябью и пеной. Ближе к горизонту оно окрашено в пурпур, прочерченный изумрудно-зелеными штрихами. У самого горизонта оно темно-синее. Ближе к берегу, где вид на него ограничивают громоздящиеся справа и слева песочно-желтые скалы, протянулась зеленая полоса посветлее, ледяная и чистая, но не прозрачная, а приглушенно-матовая. Здесь север, и яркий солнечный свет не проникает в толщу моря. Там, где вода лижет скалы, на ее поверхности еще сохраняется пленка цвета. У самого горизонта очень бледное безоблачное небо разбросало по темно-синей воде легкие серебряные блики. К зениту небесная синь густеет, вибрирует. Но небо какое-то холодное, даже солнце какое-то холодное.

Не успел я закончить этот абзац, предназначенный служить вступлением к моим мемуарам, как произошло нечто до того невыносимое, до того страшное, что и сейчас я не в силах это описать, хотя прошло уже немало времени и я, кажется, даже нашел этому возможное объяснение, правда, не особенно успокоительное. Может быть, спустя еще какое-то время я немного приду в себя и голова прояснится.

Я сказал – мемуары. Вот во что, значит, выльются эти записи? Там видно будет. Пока что, в возрасте одной страницы, они больше похожи не на мемуары, а на дневник. Ну так пусть будет дневник. Как мне жаль, что я не вел дневника раньше, какой это был бы документ! А теперь главные события моей жизни в прошлом, а впереди – ничего, кроме «воспоминаний на покое». Исповедь себялюбца? Не совсем, но что-то в этом роде. Разумеется, своим актерам и актрисам я этого не говорил. Они бы меня засмеяли.

Театр – вот где убеждаешься в быстротечности земной славы. Ах, эти чудесные, все в блестящих, канувшие без следа пантомимы! Теперь я отрекись от волшебства и стану отшельником; поставлю себя в такое положение, чтобы можно было честно сказать: мне только и осталось, что учиться быть добрым. Конец жизни справедливо считают порой размышлений. Пожалее ли я о том, что для меня эта пора не наступила раньше?

Писать необходимо, это-то ясно, и притом совсем не так, как я писал прежде. Все написанное мною прежде были однодневки, на большее я и не претендовал. Эти же мои записи – для потомства, они не могут не надеяться, что пребудут в веках. Да, этот предмет, эта книжечка, *libellum*¹, творение, которому я даю жизнь и которое словно бы уже обрело собственную волю, – для меня отныне как живое существо. Оно хочет жить, хочет уцелеть.

Я и подумывал вести дневник – не событий, потому что их не будет, а просто чтобы получилась некая смесь из мыслей и повседневных наблюдений, моя философия, мои *pensées*², на фоне несложных описаний погоды и прочих природных явлений. Теперь мне снова кажется, что это была неплохая идея. Море. Одними словесными картинками моря я мог бы заполнить целый том. И систематически рассказать о здешних местах, их флоре и фауне. Если хватит прилежания, это могло бы представить известный интерес, хоть я и не Уайт из Селборна³. Вот сейчас из моего окна, обращенного к морю, я вижу чаек трех разных

¹ Книга, книжечка (*лат.*).

² Размышления, думы (*фр.*).

³ Гилберт Уайт (1720–1793) – английский священник, почти всю жизнь проживший в своем родном городке Селборн, в графстве Гемпшир, где написал книги «Естественная история и древности Селборна», «Календарь натуралиста» и др. В 1885 году в память его было основано Селборнское общество охраны птиц и растений. – *Здесь и далее примеч. перев.*

пород, ласточек, баклана, бесчисленных бабочек, порхающих над цветами, каким-то чудом выросшими на моих желтых скалах...

Только не надо пытаться писать «красиво», это испортило бы весь замысел. К тому же я только выставил бы себя в смешном свете.

О благословенное северное море, настоящее море, с чистыми, милостивыми приливами и отливами, не то что Средиземное, этот котел вонючего разогретого супа!

Говорят, здесь водятся тюлени, но я их еще не видел.

Конечно же, нет смысла четко разграничивать «мемуары», «дневник», «философский журнал». Попутно, читатель, я могу рассказать тебе и о моей прошлой жизни, и о моем «мировоззрении». Почему бы и нет? В размышления все это укладывается вполне естественно. Вот так бестревожно (ведь все тревоги остались позади) я и обрету свой «литературный жанр». Во всяком случае, к чему решать заранее? Позже, если понадобится, я смогу расценить эти беспорядочные записи как черновик для более связного повествования. В самом деле, как знать, насколько интересной покажется мне моя прошлая жизнь, когда я начну о ней рассказывать? Может быть, я постепенно доведу свою историю до сегодняшнего дня и как бы наложу свое настоящее на свое прошедшее?

Покаяться в эгоизме. Пожалуй, автобиография не лучший путь к этой цели? Но ведь я, не будучи философом, и о мире могу размышлять, лишь размышляя о своих приключениях в этом мире. А я чувствую, что настало наконец время подумать о себе. Может показаться странным, что такое чувство – будто никогда еще о себе и не думал – возникло у человека, которого популярная пресса заклеила как «тирана», «деспота» и (если память мне не изменяет) «чудовище властолюбия». Однако это так. Я в самом деле мало что знаю о своей сущности.

И только в последнее время у меня появилась эта потребность написать нечто одновременно и личное, и обобщающее. В пору, когда я писал однодневки, мне казалось, что если я когда-нибудь что-нибудь издам, то разве что поваренную книгу.

Сейчас, вероятно, самое время представиться... прежде всего, выходит, самому себе. Вот, оказывается, какая странная вещь автобиография. Другим, если эти слова будут напечатаны в не слишком далеком будущем, «оратор достаточно знаком», как говорят на торжественных собраниях. Сколько времени длится смертная слава? Такая, как у меня, – не очень долго, но все же. Да, да, я – Чарльз Эрроуби, и сейчас мне, скажем так, за шестьдесят. У меня нет ни жены, ни детей, ни сестер, ни братьев, я – это именно я, широко известная фигура в блестящих непрочной славы. Я уже давно решил, что после шестидесяти лет уйду из театра. («Ты никогда не уйдешь, – сказал мне Уилфрид. – Просто не сможешь». Он ошибся.) Я устал от театра, с меня хватит. Вот чего не могли ни предугадать, ни вообразить все те, кто меня близко знал, – Сидни, Перегрин, Фрицци, да и Уилфрид и Клемент, когда были живы. И дело не только в том, чтобы благоразумно удалиться «на гребне волны». (Сколько актеров и режиссеров не сумели уйти вовремя, несчастные люди!) Я от всего этого устал. Ощутил какой-то внутренний протест.

«Ладно, уходи, – говорили они, – но не воображай, что сможешь вернуться». А я и не хочу возвращаться, премного благодарен. «Если перестанешь работать, уединишься, то кончишь тихим помешательством». (Это высказался Сидни.) А я, напротив, впервые в жизни чувствую себя абсолютно нормальным, свободным и счастливым.

Не то чтобы я вдруг стал относиться к театру «неодобрительно», как, скажем, всю жизнь относилась к нему моя мать. Просто я понял, что если не уйду, то начну духовно увядать, утрачу нечто такое, что до сих пор терпеливо оставалось при мне, но может и уйти, если не дождется от меня внимания; нечто, не связанное с требованиями моей работы, а совсем отдельное от нее – и тем равноценное. Помню, Джеймс что-то говорил насчет людей,

которые кончают свои дни в пещерах. Ну так вот, море – моя пещера. И я забрался в нее и принес с собой мою драгоценность, некий талисман, который теперь можно и развернуть. Как высокопарно это звучит! А я, признаться, и сам толком не понимаю, что хотел сказать. Прервем-ка на время эти тяжеловесные размышления.

Все это я записывал в течение нескольких дней – чудесных, пустых, одиноких дней, о каких я столько мечтал, еще не веря, что когда-нибудь у меня достанет желания сделать эту мечту явью.

Я опять ходил купаться, но все еще не нашел самого подходящего места. Сегодня утром я просто бросился в воду с ближайших к дому скал, там, где они обрываются почти отвесно, но небольшие выступы и складки все же образуют некое подобие лестницы. Я называю это место моим «утесом», хотя он даже во время отлива не выше двадцати футов. Вода, конечно, очень холодная, но уже через несколько секунд она словно обволакивает тело теплой серебряной кожей, словно обрастаешь чешуей, как тритон. Кровь, взбодренная холодом, ликует, наливаясь новой силой. Да, это моя стихия. Странно даже подумать, что я впервые увидел море только в четырнадцать лет.

Я – бесстрашный, искусный пловец, и волны меня не пугают. Сегодня море было тихое по сравнению с океанами другого полушария, где мне доводилось резвиться, как дельфину. Трудность у меня была, можно сказать, чисто техническая. До смешного трудно, даже при такой слабой зыби, оказалось выбраться обратно на берег. Мой «утес» чуть круче, чем нужно, а выступы – чуть уже. Легкие волны дразнили меня – приподнимали и тут же опять отдергивали от скал, снова и снова отрывая мои пальцы, ищущие, за что бы ухватиться. Утомившись, я поплавал немного, высматривая другие места, где море беспокойно металось взад-вперед, но там вылезти было еще труднее – подо мной была большая глубина, а скалы, хоть и не такие крутые, были совсем гладкие либо скользкие от водорослей, и я не мог за них удержаться. В конце концов я все же вскарабкался на свой утес, впиваясь в камень пальцами рук и ног, потом примостясь боком на коленях на одном из выступов. Добравшись до вершины и растянувшись на солнце, чтобы отдышаться, я заметил, что руки и колени у меня в крови.

С самого приезда сюда я позволяю себе удовольствие купаться нагишом. По счастью, этот скалистый участок берега не привлекает туристов с их «ребятишками». Здесь нет ни намека на какой-либо песчаный пляж. Кто-то, я слышал, сказал, что берег здесь ни к черту. Подольше бы за ним держалась такая репутация! Скалы, что тянутся в обе стороны от моего дома, и впрямь не живописны. Они песочно-желтого цвета, в веснушках кристаллов, навалены огромными бесформенными горами. Ниже линии прилива они обвешаны фестонами блестящих, колючих темно-бурых водорослей с неприятным запахом. Однако для тех, кто поднимется выше, они таят великое множество радостей. Там попадаются маленькие узкие ущелья, и в них – где озерко, где миниатюрная осыпь из поразительно разнообразных и красивых камней. Есть там и цветы, ухитрившиеся пустить корни в расщелинах: розовая армерия и бледно-лиловый просвирник, что-то вроде ползучего белого морского горицвета и сине-зеленое растение с листьями как у капусты, и камнеломка, такая крошечная, что ее листья и цветы почти не видны невооруженным глазом. Надо будет разыскать мою лупу и рассмотреть ее как следует.

А еще для этого участка берега характерно, что тут и там вода промыла в скалах ямы. Гротами их не назовешь, много чести, но, если смотреть на них снизу, из воды, выглядят они интересно и немного зловеще. В одном месте, совсем близко от моего дома, вода построила из скал горбатый мост, под которым она с грохотом врывается в глубокую, с отвесными краями впадину. Мне почему-то очень нравится стоять на этом мосту и глядеть, как вспененные волны, кидаясь вперед и отступая, рождают в этой замкнутой каменной яме неистовое противоборство сил.

Вот и еще день прошел. Погода держится прекрасная. С самого приезда сюда я не получил ни одного письма. Моя бывшая секретарша мисс Кауфман по доброте своей оставляет в Лондоне быстро мелеющий поток моей деловой корреспонденции. Да и от кого мне хотелось бы получить письмо? Разве что от Лиззи, а она, вероятно, на гастролях.

Я продолжаю обследовать скалы по пути к моей башне. Да, ведь я теперь владелец не только дома и скал, но и полуразрушенной башни мартелло. От нее, увы, остался один остров. Хорошо бы восстановить ее, устроить внутри винтовую лестницу, а наверху – комнату для занятий, но я, вопреки распространенному мнению, не богат. Мой дом у моря поглотил почти все мои сбережения. Правда, у меня хорошая пенсия – этим я обязан практическому складу ума милой Клемент. Но нужно экономить. Возле башни меня порадовала археологическая находка, свидетельствующая, между прочим, о том, что не только мне было трудно выбираться из этого моря. В потайной бухточке под башней, невидимые кроме как прямо сверху, в скале вырублены несколько ступенек, спускающихся в воду, а над ними укреплен железный поручень. К несчастью, нижний конец поручня отломился, а скользкие ступеньки при сильной волне бесполезны, особенно во время отлива. Волны попросту сбивают вас с ног. Прямо-таки поражаешься, какую упорную, молчаливую силищу способно проявить мое шаловливое море! Но самая идея превосходна. Поручень надо надставить. И заодно мне пришло в голову, что, если в стену моего «утеса» забить несколько костылей, это будут отличные точки опоры для рук и для ног, чтобы выбираться из воды независимо от прилива. Надо разузнать в деревне насчет рабочих.

Я выкупался с башенных ступенек во время прилива, а потом долго лежал, не одеваясь, на траве возле башни с ощущением блаженной расслабленности во всем теле. Башню, к моему великому сожалению, туристы изредка посещают, но как-то не хочется прибывать к ней дощечку «Частное владение». Этот лужок возле башни – единственная трава, какой я владею, если не считать маленькой лужайки позади дома. Трава, истрепанная морским ветром, здесь очень короткая, образует как бы плотные круглые коврики, крепкие, словно кактусы. У подножия башни цветет белая и розовая валериана, а густо-фиолетовые цветы тимьяна глядят из травы и цепляются за скалы подалее от берега. Их, как и ту крошечную камнеломку, я уже разглядывал в лупу. Когда мне было десять лет, я хотел стать ботаником. Мой отец обожал растения, хотя и не разбирался в них, и мы много чего рассматривали с ним вместе. Интересно, как я построил бы свою жизнь, если бы очертя голову не увлекся театром?

По дороге домой я заглядывал в свои озерки. Какой они полны прекрасной и любопытной жизнью! Нужно купить кое-какие книги по этим вопросам, если я и впрямь надумаю, хотя бы в меру моих скромных требований, стать Гилбертом Уайтом этих мест. Еще я набрал красивых камней и отнес их на свою вторую лужайку. Они гладкие, продолговатые, прелестные на ощупь. Один из них, пятнисто-розовый с ровными белыми прожилками, лежит сейчас передо мной. Моему отцу очень бы здесь понравилось – я до сих пор вспоминаю его и тоскую по нем.

Сейчас, после второго завтрака, я хочу описать мой дом. А на завтрак у меня, к вашему сведению, были вот какие блюда, одно другого вкуснее: горячие гренки с паштетом из анчусов, затем тушеная фасоль с мелко нарезанным сельдереем, помидорами, лимонным соком и прованским маслом. (Самое лучшее, не безвкусное прованское масло – это очень существенно, я привез с собой запас из Лондона.) Хорошо бы добавить туда зеленого перца, но в деревенской лавке (до нее мили две, приятная прогулка) его не оказалось. (На дом мне ничего не доставляют, слишком далеко, так что я даже за молоком хожу в деревню.) Затем бананы и сливки с сахарной пудрой (бананы резать, ни в коем случае не разминать, сливки негустые).

Затем крекеры с новозеландским маслом и йоркширским сыром. Импортного сыра я не признаю, наши сыры – лучшие в мире. Всю эту прелесть я запил почти целой бутылкой мускателя из моих скромных «подвалов». Я пил и ел медленно, как и следует («готовить быстро, есть не спеша»), не отвлекаясь, благодарение богу, на разговоры или на чтение. Есть так приятно, что даже мысли надо на это время по возможности отключать. Конечно, и чтение, и мысли – все это важно, но не менее важен и процесс насыщения. Создатель милостиво наделил нас способностью поглощать пищу. Всякая трапеза должна быть пиром, и да будет благословен каждый новый день, приносящий с собой хорошее пищеварение и бесценное чувство голода.

Интересно, напишу я когда-нибудь эту книгу – «В четыре минуты. Поваренная книга Чарльза Эрруоби»? Четыре минуты – это, разумеется, время активной стряпни; время, когда кушанье само печется или варится, сюда не входит. Я просмотрел несколько так называемых быстрых кулинарных справочников, но убедился, что все они только вводят в заблуждение. На практике «пятнадцать минут» означают полчаса, и там содержатся такие указания, как «слегка взбить мутовкой». А те здоровые, нормальные люди, которым была бы адресована моя книга, наверняка не умеют обращаться с мутовкой, а возможно, и не знают, что это такое. Но они – гедонисты. Как известно любому сознательному себялюбцу, во всем, что касается еды и питья, как и во многих (не во всех) других областях, простые радости самые лучшие. Сидни Эш как-то предлагал посвятить меня в восхитительные тайны коллекционных вин. Я решительно отверг его предложение. Сидни терпеть не может обыкновенных вин и счастлив только тогда, когда пьет что-нибудь очень дорогое, с датой на бутылке. А нужно ли отбивать у себя вкус к дешевым винам? (Я, конечно, не имею в виду какое-нибудь пойло, отдающее бананами.) Один из секретов счастливой жизни – непрерывно доставлять себе мелкие наслаждения, и если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени – тем лучше. Жизнь в театре не позволяет отнестись к еде с полной серьезностью, и в прошлом мне не всегда удавалось поесть не спеша, но готовить быстро я, безусловно, научился. Разумеется, людей неумных мои методы шокируют (в особенности то, как широко я пользуюсь консервами); и, уговаривая меня опубликовать мои рецепты, все они (главным образом женщины – Жанна, Дорис, Розмэри, Лиззи) словно снисходительно надо мною подсмеивались. «Хватит твоей фамилии, чтобы книгу мгновенно раскупили», – бестактно уверяли они. «Обеды у Чарльза – это просто пикники», – заметила как-то Рита Гиббонс. Вот именно, хорошие, замечательные пикники. Но добавлю к слову, что у меня гости сидят за столом, *никогда* не держат тарелку на коленях и *всегда* к их услугам салфетки, настоящие, а не бумажные.

Пища – тема серьезная, и на эту тему писатели, между прочим, не лгут. Сам не знаю, откуда у меня взялось это счастливое кулинарное мастерство. Из своего бережливого детства я вынес убеждение, что разбазаривать пищу грешно. Все нехитрые блюда, которыми меня кормили дома, я поглощал с аппетитом. Моя мать готовила «просто, но вкусно», однако ей недоставало той вдохновенной простоты, которую я теперь ценю в еде превыше всего. Думаю, что озарение снизошло на меня, как и на святого Августина, когда мне опротивели излишества. В бытность свою начинающим режиссером я по глупости и по несамостоятельности мышления воображал, что должен приглашать всяких людей в шикарные рестораны. Постепенно мне стало ясно, что заглатывать в больших количествах дорогую, замысловатую и далеко не всегда вкусную пищу в общественных местах не только безнравственно, неэстетично и вредно для здоровья, но и не доставляет никакого удовольствия. Со временем я стал приглашать своих гостей вкушать простых радостей у меня дома. Что может быть восхитительнее горячих гренков с маслом, а если угодно, еще и с селедочным паштетом! Или вареный репчатый лук и к нему, кто хочет, холодные мясные консервы. А хорошо сваренная овсянка со сливками и сахарным песком – это ли не блюдо для королей! Но и тут находились

люди с безнадежно испорченным вкусом, которые принимали мой осознанный гедонизм за чудачество, за способ себя афишировать. (Один журналист окрестил мои обеды «Ветер в ивах»⁴.) А иные так всерьез на меня обижались.

Возможно, впрочем, что на лживость легенд, окружающих *haute cuisine*⁵, мне открыли глаза не столько рестораны, сколько званые обеды. Я долго и, как правило, тщетно убеждал своих друзей не затевать сложного угощения. Бессмысленна прежде всего сама трата времени, хотя есть, очевидно, несчастные женщины, которым нечем себя занять, кроме как стряпней. Существует также иллюзия, будто в замысловатой готовке больше «творческого» элемента. Хочу, чтобы меня поняли правильно: я не варвар. Деревенская французская кухня, которую еще можно кое-где найти в этой благословенной стране, очень хороша; но качество ее определяется традицией и инстинктом, не допускающими быстрых темпов. В Англии честолюбивая хозяйка дома не только возводит кулинарию в ритуал и в добродетель, очень часто она изощряется в своем искусстве ради людей, которые вообще не ценят еду, хотя нипочем не сознались бы в этом. Большинство моих театральных приятелей успевали так нализаться перед званым обедом, что у них не было ни малейшего аппетита и они даже не замечали, чем их кормят. Стоит ли посвящать целый день готовке, если гости съедают ваш обед (оставляя половину на тарелках) в таком состоянии? Тот, кто ест с толком, пьет умеренно. Портит званые обеды и то, что за столом полагается разговаривать. Хорошо еще, если повезет и ты окажешься между двумя дамами, оживленно болтающими каждая со своим вторым соседом, – тогда хоть можно сосредоточиться на еде. Нет, не люблю я эти обеды, часто продиктованные честолюбием, заботой о престиже и ложно понятых светских «приличиях», а не подлинным инстинктом гостеприимства. *Haute cuisine* даже мешает гостеприимству, поскольку те, кто не может или не хочет ее придерживаться, избегают приглашать к себе ее приверженцев из страха показаться примитивными либо неудачниками. Поглощать пищу лучше всего с друзьями, которых такие светские соображения не смущают, а еще лучше, конечно, в одиночестве. Я ненавижу фальшь званых обедов, где все целуются, создавая видимость интимной атмосферы.

После этой тирады описание дома придется, пожалуй, отложить до следующего раза. Сейчас могу только добавить, что я (как читатель уже мог убедиться) не вегетарианец. Правда, я ем очень мало мяса и любители бифштексов наводят на меня ужас. Но некоторые продукты (например, паштет из анчоусов, печенка, колбасы, рыба) занимают, так сказать, ключевые позиции в моем меню, и остаться без них мне бы не хотелось; здесь гедонизм торжествует над поверженными в прах нравственными критериями. Возможно, мне и следует отказаться от мяса, но я так долго обдумывал этот шаг, что уже едва ли решусь на него.

Теперь-то я наконец опишу мой дом. Называется он Шрафф-Энд. Энд – конец, это понятно. Он стоит на конце мыса, как бы на полуострове, прямо на скалах. Какой безумец построил его здесь? Дата постройки, видимо, около 1910 года. Но почему Шрафф? Я спрашивал об этом у двух из моих здешних (пока весьма немногочисленных) знакомых – у владелицы лавки и хозяина деревенского трактира, и оба сказали, хотя подробнее объяснить не могли, что «Шрафф» означает «черный». (*Shruff – schwarz?* Едва ли.) Об истории дома я еще ничего не узнал. Купил я его у некой «старой леди» по имени миссис Чорни, но лично с ней не встречался. Цена оказалась изрядная, да еще мне пришлось купить всю мебель и прочую обстановку, не представляющую никакой ценности. Самый дом имеет ряд явных недостатков, на которые я не преминул указать агенту по продаже. В нем почему-то очень сыро, стоит

⁴ «Ветер в ветлах» – роман для детей (1908) английского писателя Кеннета Грэма, одно время пользовавшийся огромной популярностью.

⁵ Высокая кухня (*фр.*).

он на юру, далеко от другого жилья. Водопровод и канализация, по счастью, имеются (в Америке мне случалось жить и без этих удобств), но нет ни электричества, ни центрального отопления. Готовка на баллонном газе. Есть нелепости и в планировке, о них я расскажу в своем месте. Агент только улыбался, сразу смекнув, что я уже влюблен в этот дом, несмотря на все недостатки. «Владение уникальное, сэр», – сказал он. Что правда, то правда.

Местоположение его пленяет сердце, хотя мои деревенские знакомцы не без удовольствия заверяют меня, что зимой там будет холодно и ветрено. Знали бы они, как я жду этих зимних штормов, когда яростные волны будут ломиться прямо в мою дверь! С тех пор как я здесь живу (то есть уже больше месяца), погода стоит подозрительно тихая. Вчера море было так неподвижно, что на нем держалась целая флотилия синих мух, которые словно ползали по его гладкой поверхности. Из обращенных к морю верхних окон (где я сейчас сижу) видно только море, если нарочно не заглядывать вниз, на скалы. Из нижних окон моря не видно – только прибрежные скалы слоновидной формы и размеров. С черного хода, из кухни, попадаешь на маленькую, окаймленную скалами лужайку с тимьяном и свалывшейся до плотности кактуса травой. Лужайку эту я оставляю в ведении природы – я не садовник (до сих пор я вообще не владел ни одним клочком земли). А природа устроила для меня здесь каменное кресло, в которое я кладу диванную подушку, и рядом с ним – каменное корытце, в которое я складываю красивые камни по мере приобщения их к моей коллекции; так что можно, усевшись в кресло, разглядывать камни.

От парадной двери дома по высокой каменной дамбе, своего рода подъемному мосту, узкая дорога выходит на тракт, гордо именуемый «приморским шоссе». Оно гудронировано, но посередине сквозь гудрон пробивается трава. Автомобили даже в мае проезжают по нему нечасто. Добавлю к слову, в чем состоит один из секретов моей счастливой жизни: я так и не научился водить машину, не совершил хотя бы этой ошибки. Всегда находились люди, обычно женщины, жаждущие отвезти меня, куда только я захочу. Зачем лаять самому, когда есть собака? По обе стороны дамбы, далеко внизу, в полном беспорядке насыпаны обломки скал помельче. Море туда не достает. Пейзаж не столь живописен, не говоря уже о ржавых жестянках и разбитых бутылках – надо будет как-нибудь слазить туда и убрать этот мусор. За шоссе опять начинаются горбатые желтые скалы, порой достигающие огромной высоты; здесь оправой им служит жесткая пружинистая трава и пылающие на солнце кусты утесника. Попадают (посеянные человеком или природой?) жиденькие фуксии и вероника, вся в цвету, и какой-то очень приятный на вид шалфей с серыми листьями. За этим «цветником» местность становится более ровной и пустынной – только утесник, да вереск, да кое-где предательские «окна», источающие скверный запах, заросшие ядовито-зеленым и красным мхом. Эти места я еще не обследовал. Ходок я неважный и пока что вполне увлечен и доволен моим раем у моря. Между прочим, на этой пустоши, милях в полутора от Шрафф-Энда, находится ближайшее ко мне жилье – ферма Аморн. По вечерам из верхних окон, обращенных к шоссе, я вижу, как там зажигается свет.

Приморское шоссе, если свернуть по нему вправо, ныряет в следующую бухту, которая мне видна из Шрафф-Энда, только когда я подхожу вплотную к башне на мысу. Там, в трех-четыре мили от моего дома, имеется заведение под вывеской «Отель „Ворон“», вызывающее у меня смешанные чувства, поскольку оно претендует на известный шик и привлекает туристов. Сама бухта очень красива в ожерелье из больших, необычной формы, почти шаровидных камней. Здешние жители называют ее Воронова бухта, по названию отеля, но есть у нее и другое название на местном диалекте, что-то вроде «Шахор» (бухта Шор – Береговая? Почему бы?). Если свернуть по шоссе влево, оно скоро втянется в занятное узкое ущелье, которое я прозвал Хайберским проходом⁶. Путь прорублен в обнаженных скалах, которые

⁶ Хайберский проход – ущелье длиной 53 км в Сулеймановых горах в Афганистане. По его дну протекает река Кабул.

в этом месте глубоко врезаются в сушу. За ущельем – крошечный каменистый пляж, единственный в этой округе, поскольку почти везде глубина под скалами даже во время отлива порядочная, что я сразу же оценил. От пляжа пешеходная тропинка ведет по диагонали в деревню, расположенную немного отступя от моря, а шоссе скоро приводит в прелестную маленькую гавань, где изогнутый каменный причал – чудо строительного искусства – уже давно не используется и весь затянут илом. Раньше здесь, очевидно, стояли рыбацьи лодки, но теперь они причаливают где-то севернее: иногда я вижу их на моем участке моря, вообще-то удивительно пустынном. Дальше, за гаванью, в скалах выбиты длинные покатые ступени, это так называемое дамское купанье. Дам я ни разу там не видел, только изредка мальчишек. (Местные жители почти не купаются, это занятие, видимо, представляется им одной из форм слабоумия.) Надо сказать, что «дамское купанье» так заросло скользкими бурыми водорослями и так густо усыпано камнями, которые накидало море, что купаться здесь едва ли безопаснее, чем в других местах. Здесь прибрежная дорога переходит в проселок (к сожалению, проходимый для автомобилей) и лезет вверх, в дикую местность, которую я еще не успел обследовать, где мои желтые скалы сменяются живописными, внушительной высоты утесами. А гудрон сворачивает прочь от моря – в деревню и дальше.

Деревня называется Нарроудин, о чем оповещает надпись на красивом каменном указателе у поворота приморского шоссе. Нарроудин – это несколько улиц, застроенных каменными домиками, несколько коттеджей выше по склону и одна лавка. В ней не продается «Таймс», нет батареек для моего транзистора, но меня это особенно не смущает, как не огорчило и отсутствие мясной лавки. Трактир всего один – «Черный лев». Домики очаровательны, накрепко сложены из местного желтоватого камня, но интересно в архитектурном отношении только одно здание – церковь, отличная постройка XVIII века с галереей. Сам я, конечно, в церковь не хожу, но мне приятно было узнать, что служба здесь бывает, правда – всего раз в месяц. Церковь содержится в чистоте и порядке, в ней всегда много цветов. Тот далекий колокольный звон, который я иногда слышу, доносится, вероятно, из такой же деревушки дальше от моря, за фермой Аморн, там местность не такая суровая и есть пастбища для овец. В Нарроудине нет ни пасторского дома, ни помещичьей усадьбы; впрочем, в мои планы и не входило водить знакомство с пастором и с помещиком! Приятно также отметить, что деревню миновала такая напасть, как «интеллектуалы», которых в наши дни рискуешь встретить где угодно. Да, еще два слова о церкви. Возле нее есть очень уютное *cimetière marin*⁷, свидетельство того, что в былые времена жители этого захолустья бороздили дальние моря и океаны. На многих могильных плитах вырезаны парусные суда, якоря и на редкость выразительные киты. Неужели отсюда уходили в море китобои? Одно надгробие особенно меня заинтересовало. На нем высечен дивной красоты якорь с куском каната и простая надпись: «Молчун. 1879–1918». Надпись показалась мне странной, но потом я сообразил, что Молчун, вероятно, был какой-нибудь глухонемой матрос, которого всю жизнь только по этому признаку и отличали. Бедняга.

А теперь вернемся в Шрафф-Энд. Фасад, глядящий на дорогу, сам по себе ничем не примечателен, но здесь, на мысу, открытом всем ветрам, кажется несуразным. Дом – кирпичный, «двухфасадный», с двумя фронтонами, на первом этаже окна фонарем. Кирпич темно-красный. В пригороде Бирмингема такой дом вообще не привлек бы внимания, но совсем один, на этом диком берегу, он, без сомнения, выглядит странно. Задняя стена изуродована снаружи упрочненной штукатуркой, очевидно для защиты от непогоды. Специалист, вероятно, установил бы возраст дома по бледно-желтым шторам, которые сохранились почти во

Во время многочисленных попыток Британской империи проникнуть в Афганистан путь английских войск проходил по этому ущелью.

⁷ Кладбище для моряков (*фр.*). Слова эти даны по-французски по ассоциации с поэмой Поля Валери «Морское кладбище».

всех комнатах – целехонькие, с блестящими деревянными кольцами на шнурах, с шелковыми кистями и кружевом понизу. Когда эти шторы спущены, с дороги дом выглядит до жути загадочно и самодовольно. А внутри в занавешенной шторами комнате желтый свет почему-то навевает на меня печальные воспоминания детства, может быть атмосферу дедушкиного дома в Линкольншире.

Одну из комнат нижнего этажа я называю «книжной» (там стоят фанерные ящики с моими книгами, еще не распакованные), другую – столовой (там я держу вино). Но живу я только в комнатах с видом на море, наверху – в спальне и в гостиной, как я решил ее именовать, внизу – в кухне и в прилегающей к ней небольшой комнате, которую я называю «красной». Там есть хороший камин, который, видимо, топили дровами, и вполне приличный бамбуковый стол с таким же креслом. Стены снизу обшиты белыми деревянными панелями, а выше покрашены в томатный цвет, экзотический штрих, единственный во всем доме. Кухня с газовой плитой вымощена шиферными плитами, огромными, я таких еще не видал. Холодильника, конечно, нет, для любителя рыбы факт прискорбный. Есть вместительная кладовая, кишашая мокрицами. На первом этаже все дерево пропитано сыростью. В прихожей я отодрал кусок линолеума и тут же в страхе водворил его на место. Из-под него повеяло соленым запахом. Неужели это море, отыскав какой-то потайной ход, поднимается в дом? Не может быть. Надо мне было, конечно, потребовать заключение инспектора, но очень уж я торопился. У парадной двери старомодный звонок – длинная проволока с медной ручкой. Звонит он в кухне.

Главная особенность дома, для которой я не могу предложить рационального объяснения, состоит в том, что и на первом, и на втором этаже есть внутренняя комната. Другими словами, между передней комнатой и задней есть еще одна, без окон в наружной стене, освещаемая только через окно из комнаты, обращенной к морю, наверху – из гостиной, внизу – из кухни. Эти две нелепые внутренние комнаты – очень темные и совершенно пустые, в нижней стоит только большой продавленный диван, а в верхней – столик, и там же на стене затейливый чугунный кронштейн для лампы, единственный на весь дом. Занимать эти комнаты я ничем не намерен. Со временем уберу лишние стены и таким образом расширю гостиную и столовую. Обстановка в доме вообще небогатая, и своих вещей я привез очень мало. (Кровать, например, всего одна, ведь гостей я не жду!) Эта пустота меня вполне устраивает; в отличие от Джеймса, я не собиратель, не накопитель. Я даже стал привязываться к некоторым из вещей миссис Чорни, которые мне пришлось купить, сколько я ни сопротивлялся. Особенно я полюбил большое овальное зеркало в прихожей. Вещи миссис Чорни здесь как-то у места. Случайными кажутся те редкие предметы, которые я привез с собой. Я много чего распродал, когда расстался с моей просторной квартирой в Барнсе, а почти все остальное перевез в крошечный *pied-à-terre*⁸ в Шепердс-Буше, свалил там кое-как и запер на ключ. Возвращаться туда мне страшновато. Сейчас я уже не могу понять, чего ради вообще сохранил за собой какое-то пристанище в Лондоне; это меня друзья уговорили.

Я сказал: друзья, а если подумать, как же мало их осталось после целой жизни, прожитой в театре. Каким дружелюбным и сердечным может казаться театр, каким тоскливым одиночеством он может обернуться. Великие меня покинули: Клемент Мэйкин умерла, Уилфрид Даннинг умер. Сидни Эш уехала в Стратфорд, провинция Онтарио, Фрицци Аитель погиб – процветает в Калифорнии. Остались единицы: Перри, Алоиз, Маркус, Гилберт, считанные женщины... Я заболтался. Уже вечер. Море золотое, усыпано белыми точками света, плещется успокоенно и равномерно, как неживое, под бледно-зеленым небом. Какой он необъятный, какой пустой этот простор, к которому меня тянуло с детства.

Писем все нет.

⁸ Временное пристанище (*фр.*).

Сегодня море не такое тихое, и чайки кричат. Тишину я, в сущности, не люблю, кроме как в зрительном зале. На море волны, темно-синие, с белыми гребешками.

Я отправился собирать плавник и дошел до каменистого пляжа. Было время отлива, так что с башенных ступенек я не мог выкупаться. А нырять с моего утеса я, пожалуй, подожду, разве что в совсем тихую погоду, пока не придумаю там каких-нибудь зацепок для рук. Я выкупался с пляжа, но не особенно удачно. Ступать по камням было больно и очень трудно выбраться из воды – пляж поднимается ступенями, и волны упорно смывали с них камни, прямо на меня. Я двинулся домой не на шутку озябший и раздосадованный и забыл прихватить дрова, которые успел собрать.

Сейчас я уже подкрепился (чечевичный суп, потом колбаски чиполата с вареным луком и яблоками, вымоченными в чае, потом курага с песочным печеньем; вино – легкое бургундское) и чувствую себя лучше. (Свежие абрикосы, конечно, вкуснее, но и курага, если залить ее на сутки водой, а потом подсушить, – божественное сопровождение к любому сладкому печенью или тартинкам. Особенно она идет к тесту, в котором есть миндаль, а значит, хорошо согласуется с красным вином. Персики, по-моему, превозносят незаслуженно. На мой взгляд, царь фруктов – абрикос.)

Пойти вздремнуть.

Поздний вечер. Две керосиновые лампы, чуть слышно потрескивая, льют спокойный бледно-желтый свет на исцарапанный, весь в пятнах, прекрасный стол палисандрового дерева, некогда собственность миссис Чорни. Это мой рабочий стол у окна в гостиной, но пользуюсь я и маленьким складным столиком, который принес сюда из внутренней комнаты, чтобы раскладывать на нем бумаги и книги. Окно пришлось закрыть, а то налетают ночные бабочки, большущие, с бежево-оранжевыми крыльями, этакие вертолетики. Ламп в доме всего четыре, в полной исправности и тоже из собрания Чорни. Они старомодные, довольно тяжелые, медные, с красивой формы колпаками матового стекла. Управляться с керосиновыми лампами я научился в США, в нашей хижине с Фрицци. А вот две керосиновые печки внизу до сих пор остаются для меня загадкой. Нужно будет их обновить, пока ночи не стали холоднее. Вчера к вечеру сильно похолодало, я попробовал затопить камин в красной комнате, но плавник оказался слишком сырой, и камин дымил.

Зимой я, вероятно, буду жить внизу. Как я мечтаю об этом. Гостиная все же скорее не комната, а наблюдательный пункт. В ней властвует высокий камин с выкрашенной в черное деревянной отделкой – множество полочек, и над каждой зеркальце. Это, конечно, музейный экземпляр, но он смахивает на алтарь какой-то оккультной секты (есть в нем что-то растительное, на восточный лад).

Сегодня вечером, прежде чем зажечь лампы, я какое-то время просто сидел и смотрел на лунный свет – извечное чудо и радость для горожанина. Над скалами так светло, что хоть читай. Но странная вещь: с тех пор как я сюда приехал, читать мне совсем не хочется. Хороший знак. Письмо словно заменило мне чтение. А вместе с тем я как-то все откладываю ту минуту, когда начну писать о себе по порядку. («Родился я на заре нового века, в городе...» – ну и так далее.) Для связного рассказа о моей жизни найдется и время и повод после того, как я, если можно так выразиться, доверю бумаге достаточный запас размышлений. Я все еще как-то стесняюсь собственных чувств, робею перед беспощадной силой некоторых воспоминаний. Одного только рассказа о моих годах с Клемент могло бы хватить на целый том.

Я отчетливо ощущаю безмолвное присутствие обступившего меня дома. Одни части его я освоил, другие упорно не даются мне, пребывают в тумане. В прихожей темно и нет ничего интересного, кроме большого овального зеркала, о котором упоминалось выше. (Этот изящный предмет обстановки как бы излучает собственный свет.) Лестница не вызы-

вает во мне теплых чувств. (По лестницам всегда бродят призраки прошлого.) С поворота ее несколько узких ступенек ведут вбок, в неожиданно большую ванную, обращенную к шоссе, а оттуда, пройдя через низенькую дверцу, можно подняться выше, на чердак. В ванной сохранились хорошие изразцы с изображениями лилий на изогнутых стеблях и лебедей. Стоит там огромная, сильно запущенная ванна на львиных лапах, с массивными медными кранами. (Но греть для нее воду негде! Реальнее, видимо, ориентироваться на сидячую ванну, которую я обнаружил внизу в чулане.) Висит там еще инструкция, писанная не английским почерком, относительно того, как спускать воду. Главная лестница после поворота выводит на просторы верхней площадки. Я сказал «просторы», потому что там и правда много места и царит свое особенное настроение. Как на сцене перед началом действия. Иногда мне кажется, что когда-то давно я видел ее во сне. Это большое продолговатое помещение без окон, днем свет попадает туда из открытых дверей, а украшает его, как раз напротив двери во внутреннюю комнату, крепкая дубовая подставка, на которой висится большущая, на редкость безобразная зеленая ваза с широким гофрированным горлом и сыпью розовых роз на толстых боках. Я сильно привязался к этому грубо сработанному изделию. Рядом с вазой – неглубокая ниша в стене, словно бы предназначенная для статуи, но за неимением оной похожая на дверь. А дальше – самое интригующее, что есть на этой площадке, – арка с занавеской из бус. В странах Средиземноморья примерно такие занавески вешают на дверях магазинов для защиты от мух. Бусы желтые и черные, выточены из дерева и слегка пощелкивают, когда раздвигашь их, чтобы пройти. За аркой – двери в спальню и в гостиную.

Пора ложиться спать. За спиной у меня прорезанное высоко в стене, вытянутое в ширину окно во внутреннюю комнату. Вставая из-за стола, я невольно смотрю в ту сторону и вижу свое отражение в черном стекле, как в зеркале. Меня никогда не терзали ночные страхи. В детстве, сколько помнится, я никогда не боялся темноты. Мать всегда внушала мне, что боязнь темноты – суеверие, которого богобоязненные люди не признают. А Бог как защита и не был мне нужен. Защитой от любого ужаса были для меня родители. И в Шрафф-Энде я ничего жуткого не нахожу. Дело не в том. Просто я только что сообразил, что впервые в жизни остаюсь по ночам совсем один. Родительский дом, актерские мебелишки в провинции, квартиры в Лондоне, отели, временные жилища во многих столицах: всегда я жил в ульях, всегда за стеной были какие-то люди. Даже когда я жил в той хижине (с Фрицци), я никогда не был один. Шрафф-Энд – первый дом, которым я владею, и первое настоящее одиночество, в котором я поселился. Ведь этого я и хотел? Конечно, мой дом, как и всякий дом почтенного возраста, даже в безветренную ночь полон тихих скрипов и шорохов, и по нему гуляют сквозняки от разошедшихся оконных рам и плохо пригнанных дверей. Так что, лежа ночью в постели, я без труда могу вообразить, что слышу осторожные шаги на чердаке у себя над головой или что занавеска из бус тихо постукивает, потому что кто-то украдкой прошмыгнул сквозь нее.

Вероятно, я выбрал не самый подходящий момент, на ночь глядя, чтобы писать об этом переживании, но очень уж ярко оно вспыхнуло вдруг у меня в мозгу. Мой гипотетический читатель, возможно, недоумевает, почему я больше не упоминал о чем-то «немыслимом и страшном», что я пережил здесь у моря и не решился описать. Может показаться, что я забыл об этом, и в каком-то смысле я действительно об этом забыл, что подтверждает одну из возможных разгадок этого явления. Теперь я попробую его описать.

Я сидел на скалах над своим утесом, положив эту тетрадь рядом с собой, и смотрел вдаль, на море. Светило солнце, море было спокойно. (Как сказано в записи, с которой начинается эта тетрадь.) Незадолго перед тем я пристально всматривался в озерко среди скал и наблюдал за длиннющим красноватым, с редкими щетинками морским червем, пока он не свился причудливыми кольцами и не исчез в глубине. Я разогнул спину и уселся лицом к

морю, помаргивая от солнца. И тут, не сразу, а минуты через две, когда глаза приспособились к яркому свету, я увидел, как *из моря поднялось чудовище*.

Иначе я не могу это выразить. На моих глазах из совершенно спокойного, пустого моря за четверть мили от меня (или даже ближе). Какое-то гигантское существо разбило водную гладь и дугой выгнулось кверху. Сперва оно было похоже на черную змею, потом за длинной шеей последовало продолговатое толстобокое туловище с хребтом из острых шипов. Мелькнул не то ласт, не то плавник. Целиком оно не было мне видно, но нижняя часть его тела или, может быть, длинный хвост вспенил воду под тем, что теперь поднялось из воды на высоту, как мне показалось, двадцати-тридцати футов. Потом это создание свернулось кольцами, длинная шея описала два витка, и голова, теперь явственно различимая, очутилась низко над поверхностью моря. Сквозь кольца было видно небо. И голова была видна совершенно отчетливо – змеиная голова с гребнем, с зелеными глазами и раскрытой пастью, зубастой и розовой. Голова и спина отливали синим. А потом все это мгновенно рухнуло – кольца упали, спина еще с минуту резала зигзагами воду, потом не осталось ничего, только огромная вспененная воронка там, где исчезло чудовище.

Сраженный ужасом, я сначала не мог пошевелиться. Я хотел спастись бегством. Больше всего меня страшило, что чудовище появится снова, ближе к берегу – может быть, прямо у моего утеса. Но ноги меня не слушались, а сердце так колотилось, что любое резкое движение могло привести к обмороку. Море снова утихло, больше ничего не произошло. Наконец я встал и медленно пошел к дому. Поднялся в гостиную и посидел, осторожно дыша и держась за сердце. Дойти до моего обычного места у окна я не решился и с полчаса просидел возле столика в глубине комнаты, прислонясь головой к стене, после чего собрался с силами и внес в эту тетрадь вторую запись.

Пока я вот так держался за сердце, дрожал и переводил дыхание, я наконец заставил себя подумать о том, что же произошло. Способность трезво мыслить и рассуждать, совсем было мне изменившая, постепенно возвращалась. Что-то случилось, а то, что случается, можно как-то объяснить. В голове мелькнуло сразу несколько объяснений, и, когда я начал перебирать их, классифицировать и сопоставлять, я почувствовал некоторое облегчение и невыносимый безотчетный страх отступил. То, что я видел, могло быть «попросту» плодом воображения. Но нет, такого ужаса и в таких подробностях «попросту» не выразишь. Позже мне показалось многозначительным, что эта тварь не вызвала у меня ни удивления, ни любопытства, а только страх. Страх я испытал невероятный. Я не алкоголик и, уж во всяком случае, не склонен к безудержным фантазиям. Другая возможность: а что, если я, опять-таки «попросту», видел животное, неизвестное науке? Что ж, это не исключено. Или еще: не было ли то, что я видел, исполинских размеров угрем? А такие угри бывают? А бывает ли, чтобы угорь поднимался из моря, свивался кольцами и держался стоймя в воздухе? Нет, что я, это был не угорь. У этого было толстое туловище, я видел его спину. Да и никакого угря, даже самого гигантского, я не мог принять за эту нечисть, эти мерзостные кольца на фоне светлого неба.

На каком расстоянии от меня было это чудовище и на какую высоту оно поднялось над водой? Я уже стал подозревать, что первое впечатление меня обмануло, хотя по-прежнему был убежден, что видел нечто совершенно невероятное. Всплывшие водоросли, плавник? Эти гипотезы я сразу же отмел. Стоило обдумать еще одну возможность. Ведь как раз перед тем, как увидеть мое гигантское чудовище, я внимательно разглядывал в озерке между скал другое, миниатюрное чудовище, красного червя с щетинками, который при длине в пять-шесть дюймов казался большим, когда извивался в тесном пространстве озера. Что, если я, повинувшись оптическому обману, какому-то неизвестному науке свойству сетчатки, «спроецировал» облик червя на поверхность моря? Идея интересная, но абсолютно неправдоподобная, поскольку красный червь был совсем не похож на иссиня-черное чудовище, если не

считать того, что оба они свивались в кольца. Да я никогда и не слышал о таких оптических фокусах. И еще меня смущало то обстоятельство, что помнил я это чудище очень отчетливо, зрительное впечатление оставалось подробным и четким, а вот расстояние, разделявшее нас, я представлял себе все более смутно.

Разгадка, которая сейчас кажется мне наиболее вероятной (еще неизвестно, останусь ли я при этом мнении), состоит в следующем, хотя признать это мне немного стыдно. Я не алкоголик и не наркоман. Крепких напитков почти не употребляю, гашиш курил в Америке лишь изредка. Но один раз, несколько лет назад, я сдуру вкатил себе дозу ЛСД. (Сделал я это в угоду одной женщине.) Последствия были скверные, очень скверные. Не буду и пытаться описать свои тогдашние переживания, отвратительные и не делающие мне чести. (Скажу только, что в них фигурировали внутренности.) Очень трудно, почти невозможно было бы выразить это словами. Это было что-то гнусное в моральном, духовном плане, словно твои зловонные кишки вышли наружу и заполнили собой вселенную: какая-то эманация темного, полусознанного морального зла, от которого не будет спасенья. «Неотторжимо» – помню, это слово возникло тогда в связи с моими ощущениями. Зрительные образы в моих видениях были до ужаса четкими и как бы властными, они и сейчас встают передо мной, и писать о них я не хочу. Больше я, разумеется, к ЛСД не прикасался. Позднейших последствий я избежал и через какое-то время стал, по счастью, забывать об этом, забывать совсем по-особенному, как забываешь сны. И все же, может быть, позволительно, даже неглупо предположить, что морское чудище, которое я «видел», было галлюцинацией, частично вызванной и тем единственным случаем, когда я, как идиот, испробовал этот мерзкий наркотик.

Правда, морское чудище было совсем не похоже на то, что мне мерещилось тогда в галлюцинациях, как не было оно похоже и на красного червя в озерке. Но ощущение ужаса было того же порядка, так, по крайней мере, мне стало казаться очень скоро после того, как это случилось. И процесс забывания, как мне теперь кажется, был оба раза одного порядка. Мне говорили, что такие галлюцинации иногда повторяются спустя много времени. Читатель, остерегись! Должен, впрочем, сознаться, что сейчас, когда я об этом размышляю, самым сильным аргументом в пользу этого последнего объяснения является то, что все остальные абсолютно неприемлемы.

Опять началось сердцебиение. Надо ложиться. Следовало, пожалуй, отложить этот рассказ до завтра.

Приму снотворное.

Прошло два дня. Спал я хорошо, после того как все записал о своем «чудовище», и мое объяснение пока еще кажется мне правильным. Как бы там ни было, воспоминание теряет четкость, и чувство ужаса исчезло. Пожалуй, мне даже пошло на пользу, что я это записал. Я уже решил, что «шаги» на чердаке – просто крысы. Погода и сегодня солнечная. Писем все нет.

Я опять купался с каменистого пляжика и, хотя море было довольно спокойное, опять злился на то, как трудно из него вылезать. Пришлось лезть круто вверх, галька под ногой осыпалась и сползала вниз, а волны одна за другой окатывали меня сзади. Наглотался воды и порезал ногу. Нашел забытую в тот раз охапку плавника и принес домой. Сильно прозяб, но слишком устал, чтобы возиться с сидячей ванной, тяжелая она, как чугунная. А таскать горячую воду наверх в ванную – нестоящее занятие.

Мне пришло в голову, что, если к железному поручню у башни привязать веревку, там можно будет пользоваться ступеньками и при сильном волнении; а если найти, к чему привязать веревку на моем «утесе», чтобы она свешивалась до самой воды, то и там вылезать было бы нетрудно. Надо узнать, продается ли в здешней лавке толстая веревка. И еще узнать, где можно купить баллоны с газом.

Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире. (Вот я, оказывается, и начал свою автобиографию, и какое отличное начало! Я знал, что так оно и будет, надо только дожидаться.) Дом его назывался Шакстон. Мне казалось, что это очень аристократично – иметь дом с названием. Кем был мой дед с материнской стороны, не знаю, он умер, когда я был еще совсем маленький. Кажется, он «служил в конторе», как позднее и мой отец. Был, очевидно, каким-нибудь клерком, и отец мой тоже, но в доме у нас слово «клерк» не употреблялось. У моего деда с отцовской стороны было два сына: Адам и Авель. Мне никогда не казалось, что он наделен богатым воображением, но в этих именах слышится что-то от поэзии. Мне с раннего детства было ясно, что мой дядя (Авель) пользуется большей любовью и достиг больших успехов, чем мой отец (Адам). Каким образом ребенок замечает такие вещи или, вернее, почему они так заметны, так очевидны для ребенка? Наверное, он, подобно собаке, читает знаки, ставшие невидимыми за условностями взрослого мира, так что взрослые в своей жизни, сотканной из лжи, не обращают на них внимания. Что мой отец (старший сын) – безнадежный неудачник, я знал еще до того, как узнал значение этого слова, до того, как узнал что бы то ни было о деньгах, общественном положении, власти, славе, любой из вожделенных наград, которые, принимая самые разнообразные формы, превратили мою жизнь в ту пляску дервишей, что теперь, надо надеяться, кончилась. Но когда я говорю, что мой милый отец был неудачником, я имею в виду только грубый, житейский смысл этого слова. Он был умный и добрый человек, с чистым сердцем.

Родители моей матери жили в Карлайле, я их почти не знал. Ее сестры запомнились как две бледные «тетечки», тоже в Карлайле. Моя бабка, мать отца, рано умерла и в моих воспоминаниях о Шакстоне фигурирует как фотография. Да и от деда, которого я боялся и не любил, запомнились только высокие сапоги и громкий голос. Адам и Авель – вот кто заполнял мой детский мир, властвуя над ним, как боги-близнецы. Мать была отдельной силой, всегда отдельной. И еще, разумеется, был мой кузен Джеймс, как и я – единственный ребенок.

Пути братьев разошлись. Отца занесло в Уорикшир, где он стал служить в «местном управлении». «Занесло»: я вижу его на плоту. Дядя Авель стал преуспевающим адвокатом и осел в Линкольне, где жил в загородном доме Рамсенс – еще один аристократический дом с названием. Рамсенс был больше, чем Шакстон. Оба этих дома до сих пор мне снятся. Со временем дядя Авель перебрался в Лондон, а Рамсенс сохранил за собой как дачу. Дядя Авель женился на хорошенькой американке, которую звали Эстелла. Помню, моя мать говорила, что она «богатая наследница». Мой отец женился на моей матери, которая работала счетоводом на ферме. Имя ее было Мэриан. Отец звал ее «дева Мэриан»⁹. Она была христианка сурового евангелического толка. Отец, конечно, тоже был христианин, как и я, как и дядя Авель, пока тетя Эстелла не увлекла его в царство света. Я не могу представить себе мою мать как прелестную девушку, как деву Мэриан на лесных тропинках Уорикшира. С самых ранних лет я помню ее лицо как маску озабоченности. Она была сильнее отца. С отцом мы любили, слушались и утешали друг друга тайком. Впрочем, мы все трое любили и утешали друг друга. Но втроем нам было неловко, тоскливо, не по себе.

Сегодня утром в кухне я насмерть перепугался – мне показалось, что из кладовой вылезает огромный, мясистый паук. На поверку он оказался очень симпатичной жабой. Я с легкостью поймал ее и отнес за шоссе, за скалы, к мшистым болотным окнам. Дальше она не спеша двинулась куда-то сама. И как только выживают такие безобидные, беззащитные твари? Я еще побыл там немного, когда жаба ушла, поглядел на красные мхи и на растения

⁹ *Дева Мэриан* – возлюбленная Робин Гуда в старинных английских балладах.

– хвощ, который я помню с юных лет, и этот противный желтый цветок, который ловит мух. Вереска особенно много повыше, дальше от моря, в сторону фермы Аморн. Агент, который продавал мне дом, сказал, что в этих местах можно встретить орхидеи, но я их еще не видел. Может быть, они такой же миф, как тюлени.

Позже я сходил в деревню, купил копченого селедочного филе (беднякам заменяет лососину). Свежей рыбы здесь купить совершенно невозможно, о чем мне с гордостью сообщили все местные жители. Порасспросил я и насчет прачечной, но толком ничего не узнал. Пока я все стираю сам, даже простыни, а сушиться расстилаю их на лужайке. Возможно, буду так делать и дальше. Эти нехитрые занятия дают удивительное чувство удовлетворения. Забыл записать, что я обнаружил в деревне вторую лавку, вроде скобяной, в переулке позади трактира. Именуется она себя «Магазин для рыбаков» и в прошлом, несомненно, торговала рыболовной снастью. Там, как я выяснил сегодня, имеется и керосин, и баллонный газ. Еще я купил там свечей, новую керосиновую лампу и моток толстой веревки. Нагруженный этими трофеями, я по пути домой зашел в «Черный лев». При моем появлении тамошняя распивочная замолкает, а стоит мне выйти, раздражается громкими хриплыми комментариями, однако я намерен заглядывать туда и впредь. Пассивная враждебность здешних жителей меня не смущает. Благодаря телевизору они, конечно, знают, кто я такой. Но они старательно разыгрывают безразличие, а может быть, им, при их надменной ограниченности, это и в самом деле безразлично. Возможно, для них я существо нереальное, как нереально и само телевидение. По счастью, никто из них не навязывался мне в друзья.

На второй завтрак я съел селедочное филе, быстро размороженное в кипятке (отчасти эту работу уже выполнило солнце), сдобренное лимонным соком, прованским маслом и чуть припудренное душистой травкой. Филе из селетки вкуснее, чем копченая лососина, разве что самого высокого качества. К нему – жареная молодая картошка (консервы, свежей еще нет). Картошка для меня – изысканное яство, а не скучное повседневное сопровождение к мясу. Затем гренки с сыром и горячая свекла. Расфасованный хлеб из здешней лавки – отнюдь не шедевр, но в поджаренном виде, с новозеландским маслом, вполне годится в пищу. По счастью, я очень люблю все виды хрустящего скандинавского печенья, которое рекламируют как средство для похудения. (Худеть от него, конечно, не худеют. Кому суждено быть толстым, тот толстеет от любой еды. Для меня-то это никогда не было проблемой.) Теперь, раз я владею землей, надо мне завести огородик. Свежая травка для приправы – это всегда было проблемой на поприще просвещенного едока, которое я для себя избрал. (Мне, конечно, не приходило в голову сеять душистые травы в родительском огороде. Наверно, дети вообще ничего не смыслят в еде.) Но где мне его устроить? Ни ту ни другую мою лужайку мне не хочется вскапывать, к тому же они слишком близко от моря. Если я тайком сам себе выделю участок за шоссе, не разворуют ли мои посевы крестьяне или какие-нибудь животные? Надо все это обдумать. Счастливые, невинные заботы, так не похожие на былые терзания.

После завтрака я отрезал кусок веревки и привязал к железному поручню у башенных ступенек, теперь она удобно свисает в море, потемнела и колышется в волнах. На конце я завязал узел, чтобы легче было ухватиться. С утесом меня постигла неудача по той простой причине, что на нем не за что закрепить веревку. Скалы слишком гладкие и выпуклые, а до дома веревку не дотянуть – не хватит. Купить кусок подлиннее, привязать к кухонной двери или к столбику у крыльца и каждый вечер втаскивать длинный мокрый конец в кухню? Тоже проблема, не лишенная интереса. Сама веревка – первый сорт, слегка навощенная и пахнет вином под названием «рецина». Говорят, местного производства.

Часть дня я провел, лежа на моем каменном «мосту» между домом и башней и глядя, как волны пролетают подо мной и в приступах ярости разбиваются о дальнюю стену глубокой воронки. Вид кипящей вспененной воды через некоторое время вызвал странное полубо-

морочное состояние, словно у меня закружилась голова и я туда свалился. Ощущение очень приятное. Немного обескуражило меня другое: рассматривая цветные открытки в лавке, я убедился, что мой мост и водоворот за ним относятся к местным достопримечательностям. К счастью, открытки были старые, захватанные, и я скупил весь запас за фунт стерлингов и еще получил сдачи. Не желаю я, чтобы какой-нибудь турист стал высматривать здесь «красивые виды». Да и ничего особенного этот мост собой не представляет: всего-навсего облом скалы с дыркой, а за ним – открытый водоем. В часы прилива вода, прорываясь под мост, грохочет громко и глухо. Надеюсь, это не привлекает туристов. Из надписи на открытках я узнал, что называется это место Миннов Котел. Я спросил у лавочницы, кто был Минн, но она не знает.

Далекий перезвон колоколов напомнил мне, что сегодня воскресенье. Небо стало затягиваться. Я долго смотрел на облака и подумал, что ни разу в жизни со мной этого не бывало, чтобы просто сидеть и смотреть на облака. В детстве я бы счел это пустой тратой времени. И мать не разрешила бы мне сидеть сложа руки. Сейчас я сижу на своей лужайке позади дома, куда я вынес стул, плед, диванную подушку. Вечереет. Толстые, бугристые серо-синие тучи, по краям тоже синие, но посветлее, медленно тянутся по небу грязноватого, но блестящего золота – впечатление как от тусклой позолоты. Над горизонтом поблескивает легкая, чуть зубчатая серебряная полоска, напоминающая современные ювелирные изделия. Море под ней беспокойное, точно живое, золотисто-коричневое в пляшущих белых мазках. Воздух теплый. Еще один счастливый день. (Они спрашивали: «Что ты там будешь делать?»)

В глубине души, не хвалясь, я чувствую, что очень собою доволен.

Прошел еще один день. Я решил не датировать записи, это нарушило бы ощущение непрерывности мыслей. Перечитал начало моей автобиографии! Какие пугающие отзвуки будят мои утверждения о детстве, в которые я почему-то вложил столько уверенности. Я и не думал, что это для меня так важно. Я хотел писать о Клемент. Неужели мне правда хочется описывать мое детство?

Сегодня я не купался. Днем дошел до башенных ступенек, думал выкупаться, но оказалось, что веревка, которую я привязал к поручню, каким-то образом развязалась и уплыла в море. По части узлов я не мастер. Да и веревка, пожалуй, слишком толстая, вязать из такой узлы нелегко. Вероятно, сподручнее был бы длинный кусок нейлона.

Приуныл, но ужин взбодрил меня: макароны с маслом и сушеным базиликом. (Базилик, вне всякого сомнения, лучшая из душистых травок.) Потом молодая капуста, тушенная на медленном огне, с укропом. Вареный лук с заправкой из муки грубого помола, травки, соевого масла и помидоров, туда же вбить одно яйцо. К этому – два ломтика холодного консервированного мяса. (Мясо, в сущности, всего лишь предлог, чтобы поесть овощей.) Выпил бутылку рецины за здоровье веревки, хоть она того и не заслужила.

Сейчас поздний вечер, я сижу наверху, зажег две лампы – новую и одну из старых. У новой свет не такого прелестного оттенка, но зато она не такая тяжелая. Надо купить еще таких ламп, хотя совсем без свечей я тоже, вероятно, не обойдусь. От миссис Чорни мне досталось штук десять подсвечников, не блещущих красотой, но удобных, и я расставил их, со свечами и спичками, по всему дому, где они могут понадобиться. Запах новой лампы напоминает мне о Фрицци. Продолжу мою автобиографию.

Родился я в Стратфорде-на-Эйвоне, вернее, вблизи этого города, а еще точнее – в Арденском лесу. Я рос в лесистой центральной Англии, так далеко от моря, как это только возможно на нашем острове. До четырнадцати лет я даже не видел моря. Всей своей жизнью я, конечно, обязан Шекспиру. Не живи я рядом со знаменитым театром, именно с этим знаменитым театром, я вообще не увидел бы ни одного спектакля. Родители мои никогда не ходили в театр, более того – мать решительно его не одобряла. Свободных денег для «выездов в

свет» в доме вообще было мало, и мы никуда не выезжали. В ресторане я побывал в первый раз, уже когда окончил школу. В отель в первый раз вошел и того позднее. На летние каникулы мы уезжали в Шакстон, или в Рамсденс, или на ферму, где мать раньше работала счетоводом. Я и вообще не попал бы в театр, если бы мы не проходили Шекспира в школе. Один из наших учителей был помешан на Шекспире. Этот человек тоже определил мою дальнейшую жизнь. Звали его мистер Макдауэл. Он часто водил нас в театр, мы пересмотрели все пьесы. Иногда он платил за меня. И конечно, мы сами ставили спектакли. Мистер Макдауэл бредил театром, это был несостоявшийся актер. Я стал его последователем и любимцем. (Это он возил меня и еще нескольких мальчиков на неделю в Уэльс, к морю. Вероятно, то была одна из счастливейших и самых значительных недель в моей жизни. «Счастливым» – не то слово. Я все время пребывал в каком-то радостном безумии.) Моя мать не препятствовала походам в театр, потому что они «входили в школьную программу». Я даже хитрил: притворялся, что мне это не очень интересно, просто нужно для экзамена. Скверный лгунишка. Я блаженствовал. Отец знал, но мы нипочем не признались бы друг другу, что обманываем мою мать.

Отец был человек тихий, книжный и самый, кажется, незлобивый из всех, кого я знал в жизни. Я не хочу этим сказать, что он был робок, хотя робок он, вероятно, тоже был. Незлобивость же определяла весь его нравственный облик. Вижу, словно это было вчера, как он, со своей всегдашней нервной улыбкой, нагибается, подбирает на бумажку паука и осторожно препровождает его за окно либо в какой-нибудь безопасный уголок в доме. Я был его товарищем, мы играли, читали; может быть, только со мной он вел иногда серьезные разговоры. Я всегда чувствовал, что мы с ним заодно, что все самое интересное у нас с ним общее. Мы читали те же книги и обсуждали их: детские книжки, приключения, позже – романы, исторические сочинения, биографии, стихи, Шекспира. Нас всегда тянуло друг к другу, всегда хотелось быть вместе. Вот она, проверка: это сильнее, чем преданность, восхищение, страсть. Если тебе все время нужно, чтобы человек был рядом, это и есть любовь. Позже я, помнится, часто думал, что никто не знает, до чего мой отец добрый; сомневаюсь, чтобы даже мать это знала. Мать я, конечно, тоже любил, но в ней была какая-то жесткая сердцевина, а в отце нет. Она верила в справедливого Бога. Как знать, возможно, эта вера поддерживала ее, когда она чувствовала, что жизнь не оправдала ее надежд.

Беда моих родителей, по крайней мере с моей точки зрения, состояла в том, что они никуда не хотели ездить и ничего не хотели предпринимать. Мать считала излишним куда-либо ездить и что-либо предпринимать отчасти потому, что это было связано с расходами, отчасти же потому, что на любом новом пути нас могли подстергать суетные соблазны. Отец не хотел никуда ездить и ничего не хотел предпринимать отчасти потому, что мать этого не одобряла, отчасти же из робости и некоторой врожденной вялости характера. Из моих слов может сложиться впечатление, будто отец у меня был меланхолик, но это не так. Он ценил радости простой жизни, умел предвкушать маленькие праздники. Свою скучную канцелярскую работу он, я уверен, выполнял на совесть, а в мелкие хозяйственные дела вкладывал всю душу. Его любимым чтением, помимо того, что он считал полезным для меня, были романы и приключения. Помню, как он, уже смертельно больной, читал «Остров сокровищ» с лупой. Мать и меня он любил и лелеял. И этим был очерчен его мир. Его не интересовала ни политика, ни путешествия, ни какие бы то ни было развлечения, ни даже искусство, если не считать литературы. У него не было друзей (кроме меня). Своего брата Авеля он любил, но сильно ли – в этом я никогда не был уверен. С моим кузеном Джеймсом он был в прохладных отношениях, потому что видел в нем моего соперника. Тети Эстеллы он стеснялся. Моя мать терпеть их всех не могла, однако держалась безупречно.

В театр я пошел, разумеется, ради Шекспира. Те, кто впоследствии знал меня как постановщика шекспировских спектаклей, и представить себе не могли, как властно этот бог с самого начала направлял мои шаги. Были у меня, конечно, и другие мотивы. От про-

стой и безгрешной жизни родителей, от неподвижности и тишины нашего дома я бежал к фантазмагии и магии искусства. Я жаждал блеска, движения, акробатики, шума. Я изобретал летательные машины, ставил дуэли, я всегда, как отмечали мои критики, чрезмерно, словно ребенок, увлекался сценическими трюками. И сам я потому стал актером – это я тоже понимал с самого начала, – что мне хотелось развлечь не только себя, но и отца. Едва ли он понимал театр или научился понимать его под моим восторженным руководством. Извлекать из театра радость для себя – это мне удавалось потом всю жизнь, почти непрерывно. Далеко не таким успехом увенчались мои попытки убедить родителей получать удовольствие. В последующие годы я возил их в Париж, в Венецию, в Афины. Им везде было неуютно, беспокойно, они рвались домой; впрочем, впоследствии мысль, что они там побывали, возможно, и доставляла им какое-то удовлетворение. Им действительно только того и было нужно, что оставаться в своем доме, в своем саду. Есть такие люди. Я был тихим, послушным, привязчивым мальчиком; но я знал, что предстоит великий бой, и хотел победить, и победить быстро. Я так и сделал. Когда мне исполнилось семнадцать лет, отец задумал дать мне университетское образование. Мать тоже этого хотела, хоть и боялась расходов. А я вместо этого поступил в театральное училище в Лондоне. (Мне дали стипендию. Мистер Макдауэл не зря потрудились.) Идти наперекор отцу мне было невыразимо тяжело. Но ждать я не мог. Мать была в ужасе. Театр она считала притоном разврата (и была права). И еще она была уверена, что я не добьюсь успеха и вернусь домой нищим. (Она презирала людей, неспособных себя прокормить.) В этом она ошиблась и с годами все-таки прониклась уважением к моей способности наживать деньги. Театр с тех самых пор стал моим домом; даже во время войны я был актером, врачи нашли у меня затемнение в легком (оно вскоре затем прошло), и в армию меня не взяли. Впоследствии я об этом жалел.

– Мистер Аркрайт, вы когда-нибудь видели в этих краях очень крупных угрей?

Прямая речь. Я записал то, что сказал сегодня утром в «Черном льве», куда зашел купить местного сидра. Сидр, к сожалению, оказался слишком сладкий, а скромный запас вина, который я привез с собой, подходит к концу. «Черный лев», конечно, о легких винах слухом не слыхал, но в отеле «Ворон» продают «настоящее вино», так мне сказала всезнающая владелица лавки.

Фамилия Аркрайта, хозяина «Черного льва», вызывает неприятные воспоминания о шофере с той же фамилией, который одно время служил у меня в годы моей славы и люто меня ненавидел. Просто удивительно, какого накала достигают порой отношения между шофером и тем, у кого он состоит в услужении. Аркрайт из «Черного льва» и сам по себе малоприятный тип. Это огромный детина с длинными черными волосами и черными баками, этаким наглым кондуктор омнибуса Викторианской эпохи. Когда в распивочной меня пробуют разыграть, он в этом деле первый заводила. Теперь он делает вид, будто не понял моего вопроса. Угрей? Очень крупных? В этих краях? И спрашивает: «То есть, значит, на суше?» – «Это он про червей», – поясняет один из посетителей. Посетители почти всегда одни и те же, надо полагать – бывшие батраки. Женщин, конечно, нет. «Да не на суше, а в море». Все сокрушенно качают головой. Слышится голос: «А в море-то их разве увидишь? Они же под водой». Другой голос добавляет мрачно: «Какой от них прок, от угрей?» Тема как будто исчерпана. Я отправляюсь домой, прихватив ненужный мне сидр, купленный только из вежливости.

Одной удачей я все же могу похвалиться. В маленькой комнате наверху (с видом на шоссе, с того боку, где внутренняя комната и гостиная) висели занавески из крепкой бумажной ткани. (Добавлю, что с другого боку этому окну соответствует окно ванной.) Так вот, одну из этих занавесок я разрезал вдоль, связал половинки концами и эту «веревку» привязал к железному поручню, благодаря чему отлично выкупался с башенных ступенек сегодня

утром, во время отлива и при довольно сильной волне. На второй завтрак сосиски с омлетом, жареными помидорами и чуточкой чеснока, потом готовая коврижка, которую я сбрызнул лимонным соком и залил йогуртом и сметаной. Запил сидром, чтобы не пропал. Поев, начал выкладывать вокруг моей лужайки бордюр из красивых камней, которых собрал уже довольно много. Сам еще не знаю, нелепо это будет выглядеть или нет. День сегодня облачный, ветер прохладный, над морем разлит странный прозрачный полумрак кофейного цвета. К вечеру – обычный парад облаков. Светлые золотисто-коричневые облачные утесы и башни величественно взмывают ввысь, и толстые их бока подсвечены чистым золотом. Пробовал растопить плавником камин в красной комнате, но он опять дымил.

Начал наводить в доме чистоту и порядок. До чего же это приятно – наводить чистоту! (Не от сознания ли, что все это твое? Наверно, так.) Я подмел прихожую и лестницу. Отскреб огромные плиты кухонного пола (давно пора было). Вымыл я и огромную безобразную вазу на площадке и отполировал исцарапанный стол палисандрового дерева (он заметно похорошел). Стал было протирать камин в гостиной, но какой-то домовый, поселившийся в нем, всячески мне мешал. Теперь я занялся большим овальным зеркалом в прихожей (о нем я, кажется, уже упоминал). Эта прекрасная вещь (конец XIX века?), вероятно, лучший антикварный предмет во всем доме. Стекло немного искривилось и кое-где в пятнах, но сохранило изумительный серебряный блеск, так что зеркало кажется источником света. Рама какого-то матового серого металла (олово?) в виде гирлянды из листьев, веток и ягод. Наждак придал этой металлической флоре немного больше отчетливости и мерцания. На тряпке, во всяком случае, осталось достаточно грязи. Я только что просидел минут пять, глядя на себя в это зеркало, так что сейчас, пожалуй, самое время описать мою наружность.

Казалось бы, в этом нет надобности. Да, конечно, фотографировали меня много. Но фотоаппарат был мне ненадежным другом. (Какое счастье, что у меня никогда не было желания стать кинозвездой.) Попробую описать себя таким, какой я на самом деле. Я худощав, среднего роста. Лицо удлиненное, с коротким прямым носом и тонкими губами. Кожа светлого ровного тона, легко краснеет. От досады или обидного слова я заливаюсь краской. Это свойство, когда-то очень меня смущавшее, превратилось в своего рода торговую марку; а когда я в своем кругу приобрел репутацию «тирана», оно мне даже пригодилось – пугать людей.

Глаза у меня холодного голубого оттенка, для чтения ношу небольшие овальные стекла без оправы. Волосы светлые, прямые, матовые, коротко остриженные. Они у меня и всегда-то были без блеска, а теперь и вовсе потускнели, но не седеют. Я решил их не красить. (Несколько лет назад, когда они начали отступать со лба, я прибегнул к помощи науки и остался вполне доволен результатом.) Чего фотография неспособна передать, так это нежную, почти девичью фактуру моего лица (я, разумеется, не ношу усов и бороды) и его немного ироническое, лукавое выражение. (Скажу без обиняков – лицо у меня умное.) Фотографам ничего не стоит представить человека дураком. Я часто думаю, что похож на отца, хотя у него лицо было простое и доброе, чего обо мне не скажешь.

Лягу рано, с грелкой. Очень устал.

Писать о театре будет, вероятно, не так-то легко. Возможно, мои размышления на эту обширнейшую тему составят отдельную книгу. А сейчас лучше перейти прямо к Клемент Мэйкин. Как-никак ведь это ей, Клемент, я обязан тем, что очутился здесь. Здесь ее родина, она росла на этом пустынном берегу. Вместе мы здесь не бывали. Видно, я все-таки суеверен. Ее родные места дождались меня.

Клемент была моей первой женщиной. Когда мы встретились, мне было двадцать лет, а ей (по ее словам) тридцать девять. Отчасти из-за той, кого я любил и потерял, а отчасти в силу моего пуританского воспитания я был девственником, пока Клемент не налетела на

меня как орлица. Была ли она великой актрисой? Думаю, что да. Конечно, женщины все время играют роль. О мужчинах в этом смысле судить легче. (Взять хотя бы Уилфрида.) Кое-что мне придется сказать о театре просто для того, чтобы создать для Клемент контекст, обставить сцену для ее выхода. Она была не такая, какой ее считали, ни поклонники, ни враги не отдавали ей должного, а и тех и других у нее было в избытке. За тех, кого она любила, она дралась когтями и зубами, отменяя все соображения нравственности; ради них лгала и жульничала и плевать хотела на чужие права и сердца. Меня она любила, и я вполне готов признаться, что она меня «сделала»; впрочем, сложились обстоятельства иначе, я бы и сам себя сделал. Упокой, Господи, ее беспокойную душу.

Чувства, если разобраться, существуют либо в самой глубине человека, либо на поверхности. На среднем же уровне их только играют. Вот почему весь мир – сцена, почему театр не теряет своей популярности, почему он вообще существует, почему он похож на жизнь, а он похож на жизнь, хоть и является в то же время самым пошлым и откровенно условным из всех искусств. Писатель, даже посредственный, может сказать немало правды. Его единственное средство воздействия тяготеет к правде. В то время как театр, даже самый «реалистический», находится примерно на том же уровне и пользуется примерно теми же методами, что и наша повседневная ложь. Именно в этом смысле «обычный» театр похож на жизнь, а драматурги, исключая самых великих, – беспардонные лжецы. С другой стороны, чисто формально театр из всех искусств ближе всего к поэзии. Когда-то мне казалось, что если б я мог стать поэтом, то вообще не совался бы в театр. Это, конечно, вздор. Чтобы громогласно заявить о себе миру, моей изголодавшейся, молчащей душе нужен был именно театр. Театр – это порабощение человечества средствами магии: из вечера в вечер подчинять себе публику, заставлять зрителей смеяться и плакать, страдать и опаздывать на поезд. Актеры, конечно, видят в публике врага, которого надо обманывать, одурманивать, оглушать, захватывать в плен. Отчасти это объясняется тем, что публика – это в то же время и суд, чей приговор не подлежит апелляции. Здесь общение искусства с его потребителем самое тесное и непосредственное. В других искусствах мы можем осуждать потребителя: он, мол, невежествен, неопытен, невнимателен, туп. А театр бывает вынужден потакать и потакать публике, пока не добьется полного, прямого контакта, которого другие художники могут позволить себе добиваться не спеша, кружными путями. Отсюда натиск, шум, нетерпение. Все это было частью моего реванша.

Как пошло, как жестоко все это было – я оценил и прочувствовал только теперь, когда поставил на этом крест, когда могу сидеть на солнце и глядеть на спокойное, тихое море. Это одиночество и покой после неумолчного гама и сутолоки, глубокая, статичная тишина, так непохожая на эффектные минуты тишины в спектакле – «Буря», сцена 2, или появление Питера Пэна. И так же непохожая на знакомую, особенную тишину в пустом театре. Актеры – пещерные жители в живом пульсирующем мраке, который они и любят и ненавидят. С каким наслаждением я, бывало, раздирал напряженную тишину ожидания шумом – шумом декораций, шумом красок. (Однажды я ставил пьесу с детективным сюжетом, и начиналась она так: долгая тишина, потом пронзительный вопль за сценой. Этот вопль неизменно производил фурор.) Между тем, а может быть именно поэтому, я довольно равнодушен к музыке. Меня восхищает сложная и, по существу, беззвучная музыкальная драма балета, а вот оперу я терпеть не могу. Клемент говорила, что это от зависти. Вагнеру я и правда завидую.

Театр – это сборище одержимых. Это отнюдь не страна сладких грез. Какие уж тут грезы – безработица, бедность, неудачи, колебания (одно возьмешь – упустишь другое), и, как в семейной жизни, слишком скоро убеждаешься, сколь ограничены возможности человеческой души. А одержимость остается. Все драматурги и режиссеры и большинство хороших актеров (не все) – одержимые. Только такие гении, как Шекспир, скрывают это или, вернее, переключают свою одержимость в духовный план. А одержимость требует тяжелой

работы. Сам я всегда работал (и других заставлял работать) как дьявол. Мать воспитала во мне привычку к труду. Она всегда что-то делала и не терпела, чтобы другие бездельничали. Отец охотно что-нибудь чинил и приколачивал, но он был бы не прочь иногда и посидеть просто так, глядя, как жизнь течет мимо него, а вот это не разрешалось. Мать не питала для него честолюбивых замыслов. Она презирала суетный преуспевающий мир дяди Авеля и тети Эстеллы, хотя мне сдается, что мысль о них не давала ей покоя, как заноза. Ей просто хотелось, чтобы мой отец всегда был занят чем-нибудь полезным. (К счастью, разговоры со мной о прочитанных книгах входили в число полезных дел.) Она даже не притворялась, что понимает его работу, никогда о ней не спрашивала и, скорее всего, понятия не имела о том, что он делает на службе. Она управляла им дома. Она и мной управляла, но это было легко: я и сам всегда был одержим каким-нибудь делом. Интервьюеры спрашивали меня, как случилось, что я стал писать пьесы. Высказывалось нелестное мнение, будто я стал писать, когда убедился, что актера из меня не выйдет. Это неверно. Я начал писать еще в ранней молодости, потому что не хотел терять время, когда бывал безработным. Я сразу заметил, как деморализующе действуют вынужденные простои на многих моих собратьев. В жизни актера «отдых» – наименее отдохновительное время. Эти периоды стали к тому же моим университетом. Я читал, писал и обучал себя моей профессии.

Поскольку люди неосведомленные и не всегда доброжелательные строили на этот счет много догадок, я хотел бы сейчас сам сказать кое-что о своих пьесах. Все они были задуманы как однодневки, как нечто вроде легких пантомим, и все существовали только в моей постановке. Никого другого я к ним не подпускал. При отсутствии подлинно большого таланта трудно удержаться на грани между иронией и наивностью, а ирония мстит за себя абсурдом. Я не обольщаюсь насчет масштабов моего таланта. Говорили еще, что мои пьесы – всего лишь материал для Уилфрида Даннинга. Почему «всего лишь»? Уилфрид был великим актером. Такие теперь перевелись. Он начинал в старом мюзик-холле на Эджуэр-роуд. Он мог стоять на эстраде неподвижно, с каменным лицом, а зрители покатывались со смеху. Потом моргнет – и они еще пуще хохочут. Способность прямо-таки пугающая: тайны человеческого тела, человеческого лица. Лицо у Уилфрида было одухотворенное. И между прочим, это было самое большое лицо, какое я когда-либо видел, за исключением, может быть, Перегринна Арбелоу. Пожалуй, в каком-то смысле он действительно был единственным, кто подвигнул меня на драматургические опыты, и, когда он умер, я перестал писать. Скажу без сожаления: мои пьесы принадлежат прошлому, и я никому их не завещаю. То были сказочки, пустячки, фейерверки. Только вот эти мои записи воплощают – или предвещают – то, что мне хотелось бы оставить после себя как долговечную память. Кто-то когда-то сказал, что мне следовало стать хореографом. И я понимаю такое мнение. Многих удивляло, каким успехом я пользовался в Японии. Я-то знал причину этого, и японцы тоже.

Хотя меня называют экспериментатором, я – убежденный сторонник занавеса, отделяющего сцену от зрителей. Я стою за иллюзию, а не за отчуждение. Я ненавижу бессмысленную суету вокруг сцены, вынесенной в зрительный зал, в которой тонет четкая последовательность событий. Противна мне и вся эта чепуха насчет «участия публики». Мятажи и прочие массовые выступления, возможно, и имеют свою ценность, но не следует смешивать их с искусством театра. Театр должен создавать условный отрезок времени и удерживать в его пределах замороженного зрителя. Театр пытается утвердить ту глубокую истину, что мы – существа протяженные, но существуем только в настоящем. Настоящее это условно, поскольку лишено свободной ауры личного восприятия и таит в себе собственные границы и выводы. Так, например, жизнь смешна, порой ужасна, но не трагична: трагедия – это уже хитроумное измышление театра. Разумеется, в большинстве случаев театр – это грубое производство заурядных поделок, а читать (не только ради режиссерских помет) можно только пьесы великих поэтов. Я сказал «великих поэтов», но имел в виду, вероятно, одного Шекс-

пира. Какой парадокс – самое легкомысленное и безродное из серьезных искусств породило величайшего в мире писателя! Что Шекспир совсем не такой, как другие, что он был не просто *primus inter pares*¹⁰, а качественно иной – это я постиг своим умом еще в школе, и на этой тайне был вскормлен. Никакие другие пьесы на бумаге не живут, разве что творения древних греков. Я по-гречески не читаю, а Джеймс утверждает, что они непереводимы. Просмотрев множество переводов, я пришел к убеждению, что он прав.

Разумеется, театр – это вечная смена надежд и разочарований, и в этих его циклах ярче переживается цикличность нашей обычной жизни. Радостное волнение премьеры, позор провала, усталость, когда пьеса держится на сцене долго, и бездомное ощущение, когда ее сняли с репертуара; после непрерывного созидания – непрерывное разрушение. Снова и снова концы и разлуки, сборы в дорогу, и проводы, и расставания с теми, кто успел стать для тебя семьей. Все это делает из людей театра кочевников, или, вернее, разобщенных членов некоего монашеского ордена, требующего подавления некоторых естественных чувств (например, жажды прочного существования). Мы обретаем «бессердечие» монахов, а значит, переживаем превратности обычной жизни по-своему, в сублимированном, символическом плане. Как актер, режиссер и драматург, я, конечно, полной мерой хлебнул разочарований, потерянного времени, тщетных поисков. Моя «блестящая» карьера насчитывает много неудач, много тупиков. Так, на Бродвее все мои пьесы провалились. Большим актером я не стал, как драматург кончился. Лишь благодаря моей славе как режиссера об этом склонны забывать.

Если правда, что неограниченная власть развращает, тогда я – самый развращенный из людей. Театральный режиссер – самодержец (иначе он не выполняет своего назначения). Я слыл безжалостным и всячески поддерживал в людях это убеждение, что оказалось весьма удобным. В моем присутствии актеры каждую минуту ждали слез и нервных вспышек. Большинству из них только того и нужно было – они ведь не только нарциссисты, но и мазохисты. Я отлично помню, с каким наслаждением Гилберт Опиан закатывал истерики. Женщины, те, конечно, плакали, не осушая глаз. (Когда я, уже зрелым режиссером, работал с Клемент, мы оба плакали. Боже, как мы с ней ругались!) Я был беспощаден к пьянству, и это подпортило мои отношения с Перегрином Арбеллоу еще до истории с Розиной. Перегрин – пьяница самой худшей породы, ирландской. Уилфрид пил как лошадь, но на сцене это никогда не было заметно. О черт, как скверно, что его нет.

Меня вполне устраивала закрепившаяся за мной слава тирана и деспота. Награждали меня и другими характеристиками, более гадкими и не соответствующими истине. Я ни разу не воспользовался своим положением, чтобы уволочь женщину в постель. Конечно, театр – это все то, что думала о нем моя мать, плюс много такого, чего бедняжка и вообразить не могла. Но не следует забывать, что театр – это еще и профессия; и очень часто «типичный» актер – это человек средних лет, регулярно имеющий работу и живущий добродетельной жизнью с женой и детьми где-нибудь в пригороде. На таких людях театр и держится. Да, театр – это секс и еще раз секс, но так ли уж это важно для профессионала? Мою мать огорчало, что я буду «играть плохих людей», ей казалось, что это пойдет во вред моей нравственности (а она и видела-то меня, кажется, только в школьных спектаклях). Я далеко не уверен, что такая зависимость вообще возможна. Над этим стоит задуматься. Да, чтобы сыграть злодея, необходимо в какой-то мере «отождествить» себя с ним, но такое отождествление не бывает полным, прежде всего потому, что злодейство принимает столько индивидуальных обликов. (У каждого актера есть уровень, на котором он неспособен лепить характер. Он может работать либо выше этого уровня, либо ниже.) И еще: мы носим маски. В идеале маска еле-еле касается лица. (Таково мое мнение, некоторые дураки со мной не согласятся.)

¹⁰ Первый среди равных (*лат.*).

Вспоминается анекдот про одного старого актера. Когда ему предложили роль старика, он воскликнул испуганно: «Но я же никогда не играл стариков!» Вот это настоящий профессиональный подход.

Однако вернемся к моей особе. Пусть в наши дни признаваться в этом не модно, но я не наделен повышенной сексуальностью, я прекрасно могу обходиться без «половых сношений». Иные наблюдатели даже подозревали меня в гомосексуализме, потому что у меня не было непрерывной смены любовниц. Я ненавижу *грязь*. Может быть, этому меня научила моральная гигиена моей матери. И мне всегда претило непотребное сквернословие «мужских» разговоров. Конечно, любовные связи у меня были, и немало. Но я никогда не заманивал женщин в постель пустыми обещаниями. Кто-то (Розина) сказал однажды: «Театр для тебя значит больше, чем женщины». Это была правда. Никогда (кроме одного раза, когда я был еще очень молод) я не думал всерьез о браке. Лишь однажды (все тот же один раз) любил без оглядки. Потом была Клемент, вечная, восхитительная, ни с кем не сравнимая Клемент. И бывали «безумные увлечения». И бывали такие милые, милые женщины. Но я не бабник. Я всегда был законченным профессионалом. Тут я был беспощаден не только к другим, но и к себе. Пошлые любовные интрижки, особенно внутри замкнутой группы, мешают серьезной работе. Я и сам очень подвержен ревности и имел дело со многими ревнивыми людьми. Зависть отравляла мне жизнь не так сильно. В театре жгучая зависть может прямо-таки сгубить человека, и я очень скоро понял, что, не преодолев ее, нечего и надеяться на успех.

Жалел ли я, что так и не стал выдающимся актером? Сколько раз мне задавали этот вопрос! Ну конечно жалел. Режиссеры всегда завидуют актерам, и я подозреваю, что чуть ли не каждый великий режиссер предпочел бы быть великим актером. Кое-кто считал, что мои актерские способности лучше проявятся в кино и на телевидении, меня пытались туда сманить, с этим связано много забавных историй, но, в сущности, ни в кино, ни на телевидение меня не влекло. Я всегда считал, что подлинное драматическое искусство – это живой театр. Были у меня и свои заветные мечты, конечно, по части Шекспира; но на Лира я так и не отважился, а о моем Гамлете лучше и не упоминать. Кажется, я хорошо сыграл Просперо в той постановке, когда Лиззи была Ариэлем. Это была моя первая большая роль, и как же давно это было. Со временем тщеславия у меня поубавилось. В театре тщеславие получает такие щелчки, что, казалось бы, должно быстро поджать хвост, однако большинство актеров умудряются его сохранить – у них это не только профессиональная болезнь, но и единственная возможность не пойти ко дну. Искреннее, великодушное восхищение, а оно тоже не редкость, помогает и врачует. Я смотрел и просто хороших, и великих актеров – Уилфрида, Сидни Эша, Маркуса Хенти (тоже один из любовников Клемент), даже Фабиана Гинсберга, даже Перри, даже Алоиза. И спокойно зачислил себя в актеры второго разряда. Это было тем легче, что к тому времени я уже с головой ушел в режиссуру. Чтобы позабавить себя и публику, я исполнял крошечные роли в собственных постановках и как-то раз чуть не затмил всех остальных, сыграв Якова в «Чайке».

Ну и ну, какая же получается мешанина, если писать вот так подряд все, что придет в голову. Может, лучше и в самом деле рассматривать этот дневник как черновые наброски. Постараюсь, хотя бы на время, удержаться от пространных воспоминаний о моих постановках. Известность мне принес Шекспир, но я брался и за многое другое, за что только я не брался! А в общем, довольно хвастать. Все это я наплел в виде пролога к разговору о Клемент Мэйкин. Но бедная Клемент может подождать, ведь ничего другого ей и не остается. Для нее битва жизни кончилась. А я сижу здесь и дивлюсь на себя. Что же я, добровольно распростился с этой магией, бросил свою книгу в море, как Просперо? Простил врагам своим? Отречение от власти, окончательное претворение магии в жизнь духа? Время покажет.

Происшествие странное и огорчительное. Я писал, сидя на своей лужайке, в своем каменном кресле, возле корытца с камнями. Утреннее солнце стало припекать, и я решил сходить в дом, за шляпой. Побаливает голова, пора, вероятно, сменить очки. Я вошел в дом и стал подниматься по лестнице, помаргивая после яркого света, и, когда ступил на верхнюю площадку, сразу почувствовал, что что-то случилось, но не мог понять, что именно. Потом до меня дошло, что моя милая большая, безобразная ваза исчезла со своей подставки. Она упала на пол и разбилась вдребезги. Но каким образом? Подставка не качается и не сдвинута с места. Ветра нет, занавеска из бус не колышется. Может быть, я слегка сдвинул вазу вчера, когда стирал с нее пыль? Или был подземный толчок? Не хочется думать, что это моя вина, да я знаю наверняка, что не виноват. Я любил эту несчастную уродину, она была вроде старой собаки. Я подобрал осколки со смутным намерением ее склеить, но куда там, это невозможно. И как она могла соскочить с подставки? Не знаю, что и думать.

– Да все ваши письма в конуре, мистер Эрроби!

Я наконец не выдержал и справился на почте. Не выдержал – то есть уронил себя, не столько в глазах всей деревни (хотя мне и этого не хотелось), сколько в собственных глазах. К чему мне теперь письма, к чему ждать их, изнывать, удивляться, что никто мне не пишет? Ведь я договорился с мисс Кауфман, что деловые письма она будет оставлять в Лондоне, а пересылать только письма от друзей. Но друзей-то у меня нет, втолковывал я себе. Правда, одно письмо мне очень хотелось получить, или, лучше сказать, я был уверен, что получу его. Однако вернемся к вопросу о конуре.

– В конуре?! – переспросил я почтмейстершу.

(Она – сестра нашей лавочницы, и почта помещается в лавке.)

– Ну да, каменная конура, не доходя поворота к вашему дому. Для миссис Чорни письма всегда там оставляли.

Я, конечно, видел эту кучу камней – в свое время агент, дойдя со мной до шоссе, объяснил, что здесь кончаются мои владения, – но подробно ее не обследовал. Формой она и правда напоминает собачью конуру, но жить там, на мой взгляд, могла бы только каменная собака. Думаю, что сложили ее здесь для какой-то другой цели, какой – понятия не имею.

Я возмутился. Откуда мне было знать? Почему мне не сказали? Как мог почтальон не заметить, что письма не вынимают? А если дождь? И т. д.

Почтмейстерша повторила невозмутимо, что миссис Чорни всегда получала свою корреспонденцию в конуре, что почтальону это сокращало маршрут, что нельзя требовать, чтобы он еще проверял, взяты ли письма, да и, в конце концов, я мог быть в отъезде. И т. д.

Я купил мороженого окуня (гораздо вкуснее трески) и поспешил домой. Да, письмо, которого я ждал, и еще несколько других писем лежали в конуре (в дождливую погоду там было бы полно воды), и я принес всю пачку в дом.

Нужное мне письмо было от Лиззи Шерер, и, когда я приведу его здесь, станет ясно, в каком отношении я в этом дневнике погрешил против правды. До сих пор мне вообще не хотелось говорить о Лиззи, потому что я сам еще не решил, как расцениваю один свой поступок, связанный с нею. Не то чтобы это расстраивало меня или волновало. Я приехал сюда с твердым намерением никогда больше не волноваться из-за личных отношений. Слишком часто такие волнения оказываются одним из видов тщеславия. А сделал я вот что: я послал Лиззи письмо, задуманное как своего рода проверка, или рискованный ход, или игра. Игра всерьез. С Лиззи я всегда играл в серьезные игры. Пожалел ли я, что отправил это письмо? Жалею ли об этом теперь, пожалею ли в будущем? Но сначала – несколько слов о самой Лиззи.

Клемент Мэйкин была великой актрисой или без пяти минут великой. Лиззи Шерер – на другом конце шкалы, назвать ее актрисой вообще можно лишь с натяжкой. Если Лиззи стяжала кое-какие лавры, это целиком моя заслуга. Я выжал из нее больше того, что в ней

было, и теперь могу признаться, что положил на нее много труда, потому что в каком-то смысле любил ее. «В каком-то смысле» означает, во-первых, что по-настоящему я любил только раз в жизни (не ее), а во-вторых, что бросить ее, когда пришло время, оказалось на удивление легко. Я никогда не «сходил с ума» по Лиззи, как было с некоторыми другими женщинами (Розина, Жанна). Мое чувство к ней было какое-то тихое, мечтательное, такого я, пожалуй, не испытывал больше ни к кому. Но я ее бросил. Она любила меня куда глубже. Для нее я был единственным.

Лиззи наполовину шотландка, наполовину испанская еврейка. Хотя ни у одной женщины, какую мне доводилось ласкать, нет таких обворожительных грудей, она не особенно хороша собой, даже в молодости не была красавицей, но у нее есть шарм. Этот неотразимый шарм в сочетании с молодостью помог ей на первых порах. Работала она упорно, и многих подкупала в ней этакая неколебимая шотландская надежность. Описать ее внешность нелегко. У нее большой широкий лоб и четкий привлекательный профиль (можно влюбиться и в профиль). Линия лба грациозно и мягко переходит в небольшой аккуратный носик, который устремляется навстречу людям, но кверху не вздернут. А ниже – прямая линия к твердому подбородку с еле заметной ямочкой. И губы у нее твердые, не толстые, но четко вылепленные и нервно-отзывчивые. (До чего же разные бывают губы!) Не искусство, а сама природа раскрасила их в приятный терракотово-розовый цвет. Верхняя губа длинная, с красивой выемкой. (Существует ли на каком-нибудь языке слово для обозначения этого нежного желобка, что идет от носа ко рту?) Лицо это можно бы назвать умным, не будь оно отмечено какой-то детской робостью. Подозреваю, что в этом мягком, словно бы виноватом, выражении и кроется ее шарм. Глаза у нее влажные, светло-карие. Как они вспыхивали, когда я ее целовал! Она близорука и часто щурится. (Как сказал однажды Перегрин, красивые женщины мало что видят, потому что из тщеславия не носят очков.) Бровки оранжевые, почти невидимые, и, пока длилось мое царствование, никаких манипуляций с ними она не предельвала. На щеках здоровый розовый румянец. Она почти не красится, и ей недостает (может, это преднамеренно) той прелестной искусственности, что отличает многих актрис, их эмалевые лакированные лица. Такая искусственность, конечно, привлекает. Меня она привлекала. Мне нравится примесь искусства во внешности женщины, хотя видеть, как достигается тот или иной эффект, для меня не обязательно. Волосы Лиззи, теперь крашенные, коричнево-каштановые и очень густые. (Они пышные и завиваются не кудрями, а штопорчиками.) Когда она счастлива, ее лицо так и лучится весельем. (В лучшие ее времена лицо ее исторгало в публике дружный вздох удовольствия.) Она и теперь еще недурна, хотя стала неряшлива, не следит за собой. В любом театральном училище физическая дисциплина – неизменное требование, игра на сцене невозможна без физической дисциплины. Актрисы всячески стараются сохранить грациозную молодость, а Лиззи этим пренебрегла. Шика в ней и никогда-то не было. (Женщина, в которой есть шик, – услада для глаз, к которой я далеко не равнодушен.) А с годами она, скажем без обиняков, еще и растолстела. Бог ты мой, ей, наверно, уже под пятьдесят.

Итак, вот письмо Лиззи, извлеченное из собачьей конуры и само себя более или менее объясняющее.

Дорогой мой, твое прекрасное, великодушное письмо получила, но я его не понимаю. Может быть, не хочу понять. Достаточно того, что оно у меня есть. Когда я увидела твой почерк, у меня дух захватило от радости и страха. Но почему страха? Ведь я тебе ничего не сделала, только любила тебя всегда. Читала твое письмо и плакала, плакала. Ты сам-то знаешь, сколько времени не писал мне? (Открытки не в счет.) Больше всего мне хотелось бы просто радоваться, что ты мне написал, а не думать о твоём письме и не отвечать на него. А то сразу одолевают тревоги и страхи.

Что тебе нужно, Чарльз? Ох, как хорошо я тебя помню! Но я всегда тебя помнила, не забывала ни на миг с тех самых пор, как полюбила. Особенно порадовало меня твое письмо тем, что ты не сомневаешься, что я все еще люблю тебя. «Все еще» здесь неуместно. Моя любовь к тебе живет в каком-то нескончаемом настоящем, ею, можно сказать, измеряется время. Это не пустые уверенья. Такая любовь совместима с отчаянием, с покоем, со смирением, с повседневностью, усталостью и молчанием. Я люблю тебя, Чарльз, буду любить, пока жива, и ты можешь схоронить это в своем сердце и знать, что так оно и есть.

Твое письмо такое спокойное, нарочито спокойное, с шуточками (насчет того, что тебе нужна «нянька»!). Ладно, ты хочешь со мной повидаться, почему бы и нет, ведь мы старые друзья. Но именно эти двое старых друзей, во всяком случае один из них, не могут просто встретиться и сказать: «Как жизнь?» Смотрю на твое письмо и пытаюсь читать между строк. Что там есть, между строк? Видимо, я должна догадаться о твоём настроении. Уж эти твои настроения! Ты что, настроился на очередной романчик? Извини за эти ужасные слова, но ты поставил меня в ужасное положение. Может быть, твое письмо вообще ничего не значит и я что-то выдумываю? Ты сам не знаешь, что хотел сказать, и знать не хочешь. С тебя и это станется. Прости меня.

Послушай, Чарльз, я сказала, что благодарна тебе, и это правда. Ты же знаешь, что я годами, годами готова была по первому знаку выйти за тебя замуж. Да сколько раз я сама делала тебе предложение, когда мы были вместе. Я понимаю, что в этом твоём письме речь, конечно же, не идет о браке. Тогда о чем же? О воскресном пикнике? Ты не говоришь, что любишь меня. Хочешь, видно, поэкспериментировать, благо есть свободное время? Чарльз, я хочу жить. Хочу уцелеть. Не хочу второй раз лишиться рассудка. Как подумаю – я просто боюсь подойти к тебе близко. Тебе пришлось бы меня уговаривать, а это не для тебя. Ты сам когда-то сказал: что А любит В – сразу заметно, точно комбинация из-под юбки. Мы не виделись больше года, в последний раз на завтраке в честь Сидни Эша, и как я ждала этой встречи, а ты со мной двух слов не сказал. Потом я хотела уехать с тобой в такси, а ты ни с того ни с сего предложил Нелл Пикеринг тоже ехать с нами. (Ты, наверно, уже забыл.) И с тех пор от тебя ни звука. Не звонил, не написал ни строчки, хотя знаешь, как бы я обрадовалась. Ты даже не знаешь, где я живу, вот и письмо послал на моего агента! О чем это все говорит? А теперь вот это странное, двусмысленное письмо. Просто тебе что-то взбрело в голову, какая-то абстракция. Наверно, ты уже успел пожалеть, что написал.

Если бы я приехала тебя навестить, как ты просишь, приехала просто потому, что ты в настроении меня повидать, вроде бы поглядеть, что из этого выйдет, – на меня сразу накатило бы прежнее безумие. Это не значит, что оно прошло, но я как-то жила, справлялась, даже навела наконец какой-то порядок в своей жизни. Ведь времени, с тех пор как ты меня бросил, прошло достаточно! Ты и не знал, что со мной творилось в те дни. Я не хотела тебя огорчать, из мести открыть тебе мою боль. Пока мы были вместе, я каждую минуту, каждую секунду знала, что это не навек. Ты не давал мне об этом забыть. Но почему-то (вот оно, безумие) я пошла на эту муку; если б могла страдать сильнее, страдала бы и сильнее.

Интересно, ты когда-нибудь так любил? Может быть, ты понимал такое только на сцене. (Мне кажется, я влюбилась в тебя, когда ты на репетиции заорал на Ромео и Джульетту: «Не прикасайтесь друг к другу!») Ты все говорил, что большая любовь была у тебя в молодости, но думаю, это говорилось мне в утешение за то, что меня ты любил недостаточно. Так или иначе, ты любил меня недостаточно, и вдруг теперь... нет, в чудеса я не верю.

Чарльз, я побывала в аду, и выбралась оттуда, и не хочу возвращаться. Ревность – это ад, а я не излечилась. Что, если я явлюсь к тебе со своей прежней любовью, а ты улыбнешься и пожмешь плечами? Ты же свободен, это ясно из твоего письма. Прости, но ты сам знаешь, люди болтливы. Все всё всем рассказывают, и я до сих пор встречаю женщин, про которых и не знала, что ты их знал, и они рассказывают, что у них были с тобой романы, может быть, врут, конечно. Ты знаешь, что не можешь жить без женщин, а я уже и не молода и не красива, а ты любишь гоняться за тем, что нелегко дается в руки, ни с кем не остаешься долго, всех рано или поздно бросаешь. Ты как-то сказал, что жениться – все равно что купить куклу, вот, значит, как ты смотришь на брак. И не верю я, что ты навсегда ушел из театра. Гилберт говорит, что с тем же успехом Бог мог бы удалиться от дел, слишком ты для этого беспокойный. Ты заставил меня играть, ты всех заставлял играть, ты как очень хороший танцор, с которым всем легко танцевать, но тебе нужно, чтобы танцевали с тобой. Людей как таковых ты не уважаешь, ты их не видишь, ты, в сущности, не учитель, а вроде как хищный волшебник. И ты думаешь, я поверю, что все это может кончиться? Или я нужна тебе как терпеливый друг, как дуэнья с вязаньем, спокойная, мудрая женщина, нечто вроде отставленной старшей жены, которой можно поплакаться на других, помоложе? Ничего из этого бы не вышло, Чарльз. Я не спокойная и не мудрая. Мне подавай все или ничего. У тебя еще могут быть дети. Я помню, ты не раз говорил, как хотел бы иметь сына. Ты и сейчас еще мог бы иметь сына, да я-то не могла бы его родить. Ах, Чарльз, Чарльз, почему ты не женился на мне тогда, давно, я так тебя любила. Я так тебя люблю, но не могу я сунуть голову в петлю. Моя любовь к тебе наконец-то утихла. Я не хочу, чтобы она разгорелась пожаром.

Должна сказать тебе еще одну вещь. Я живу с Гилбертом Опаном. Ты, видно, этого не знал, а то упомянул бы в письме. Я помню, ты взял с меня слово, что я сообщу тебе, если когда-нибудь прочно свяжусь с кем-нибудь мою судьбу. (Так было больно, когда Рита Гиббонс сказала мне, что ты и с нее взял такое обещание. Про свое обещание я ей не сказала. Она говорит, что не считает себя связанной словом, потому что оно было дано под давлением.) Про Гилберта я тебе не сказала, потому что так я с ним не живу, конечно, в том смысле, что мы не любовники, не стал же он вдруг нормальным мужчиной. Просто мы любим друг друга, помогаем друг другу. Живем под одной крышей, и знаешь, Чарльз, впервые в жизни я счастлива. Тут есть с моей стороны что-то творческое, куда больше, чем было в моей игре. Когда мы встретились с тобой на том завтраке, я бы тебе рассказала, если б ты проявил хоть каплю интереса, расспросил бы! И еще, Чарльз, я ведь бросила сцену, и от этого мне стало много легче. По чести говоря, театр был для меня сплошной мукой. Блистала я только

ради тебя, а когда ты меня бросил, сразу свяла. (Да и раньше не многого стоила!) Как вспомнишь, какой жалкой, нелепой, путаной жизнью я жила столько лет, просто непонятно, как я это терпела. И ведь прекрасно могла быть счастлива, а вот как нарочно не была! Мужчины всегда относились ко мне безобразно. Гилберт совсем не такой. Можешь скалить зубы сколько влезет. Эти чертовы мужчины всю жизнь мной помыкали. А теперь я веду упорядоченное, деятельное существование. Я даже приношу пользу. Работаю неполный день в канцелярии одной больницы. Учусь живописи и пишу книжки для детей (ни одна еще не издана). На твой взгляд, может быть, радости мало, но для меня это счастье и свобода. И Гилберту хорошо. Он больше не терзается из-за того, что не добился успеха, не стал звездой. Получает кое-какие мелкие роли; немножко работает на телевидении. Мы не богаты, но денег заработать можем, и можем заботиться друг о друге. Нежность, абсолютное взаимное доверие и контакт – и правда это с годами становится все нужнее. Гилберт перестал «охотиться», он говорит, что всегда искал одного – любви, а теперь, со мной, он ее имеет. Все как-то сразу стало просто и невинно. (Теперь мне кажется, что всем нам в свое время промыли мозги по части секса.) Пожалуйста, Чарльз, милый, пойми меня и не сердись. Ты сам знаешь (не буду об этом распространяться, потому что в прошлом это тебя раздражало), что Гилберт тоже очень тебя любит. Он прямо-таки преклоняется перед тобой. Но сейчас он испугался. Он говорит, что ты приедешь на тройке и увезешь меня к цыганам. (Наверно, это цитата, а ты всегда говорил, что я читаю только Шекспира, да и то только свою роль.) Он до сих пор тебя боится, и я тоже. Очень уж мы привыкли тебе повиноваться. Не употреби свою власть нам во зло. Ты легко мог бы оказать на нас страшный нажим, не делай этого. Будь великодушен, мой дорогой. Ты мог бы нас обоих довести до безумия. Мы долго мучились, пока не решили свои проблемы, и если некоторым людям такое решение кажется смешным, это значит только, что им недостает ума и воображения. А ты не лишен ни того ни другого.

Чарльз, я не хочу тебя сейчас видеть, еще не время. Я бы не устояла. Мне надо прийти в себя после твоего письма. Пожалуйста, напиши мне и постарайся не сердиться. Когда я немножко успокоюсь, давай повидаемся, приезжай сюда и Гилберта повидаем. Что-нибудь придумаем. После твоего письма осталась какая-то ноющая пустота, нехватка, и этого не поправишь. Но здесь мне хорошо, и Гилберту я нужна, и у нас есть этот дом (вернее, полдома), который мы вместе устраивали, и, если б я сейчас ушла, это было бы полным крушением для нас обоих. (Не знаю я, не знаю, что тебе от меня было нужно, теперь-то, может быть, ничего уже не нужно. О господи.) Гилберт говорит, что в конце концов ты должен воспринять нас как своих детей. Ох, Чарльз, до чего же могущественны эти силы, которым я приказала уснуть. Вся она еще тут, вся моя любовь к тебе. Не будем швыряться любовью, не так часто она встречается. Ты вспомнил обо мне, написал мне так по-хорошему, так великодушно. Неужели и теперь, когда уже близко старость, мы не можем любить друг друга и встречаться как свободные люди, без этой страшной жажды обладания, без надрыва и страха? Я так хочу, чтобы мы любили друг друга, но не хочу, чтобы любовь меня сгубила. Я столько горя испытала из-за тебя. Вся моя любовь к

тебе была смешана с горем. Сколько же слабости в силе любви! Кажется, что можешь подчинить любимого своей воле, но это иллюзия! Пишу и плачу. Пожалуйста, ответь поскорее, скажи, что повидаться можно и не сейчас, через некоторое время, и что не разлюбишь меня. Не потеряй эту любовь, ведь, какая бы она ни была, она заставила тебя написать мне. И мы посмотрим друг на друга.

Всегда твоя

Лиззи.

Я уже довольно долго просидел в красной комнате, где мне наконец-то удалось растопить камин. Сегодня он не дымит – то ли одумался, то ли просто дрова подсохли.

Письмо Лиззи я прочитал два раза. Конечно, это глупое, путаное, чисто женское письмо, написано одно, а понимай наоборот. Лиззи предлагает себя, иначе она не может. А все остальное, конечно, в большой мере «пустые уверенья». Женщина поумнее могла бы ответить спокойно и предоставить мне читать между строк. Поумнее и не такая искренняя. Кое-где она, впрочем, пытается хитрить, но очень уж неумело. Бедная Лиззи. Насчет Гилберта Опиана все это чепуха, но меня и правда задело, что она мне не сказала, не сдержала слова. Так какие же у них отношения? Жить рядом с Лиззи – этого и теперь еще, надо полагать, достаточно, чтобы любой мужчина стал нормальным. (Одни ее груди чего стоят.) Они что же, вместе пьют какао, оба в халатах? Думать об этом противно. Гилберт, конечно, ничтожество, козявка, я его одной рукой мог бы раздавить, а другой увести Лиззи. Платоническое любовное трио – это уж совсем не в моем вкусе. Судя по штемпелю, письмо Лиззи провалялось в конуре больше недели. Может, это и к лучшему. Получи я его сразу, мне бы, может быть, вздумалось и ответить тут же, либо отчитать ее, либо отделаться шутками. А так у нее было время обдумать мое молчание. И пожалуй, имеет смысл это молчание продлить.

А впрочем, если повторить за Лиззи ее вполне разумный вопрос, чего я хочу? И почему это женщины на все реагируют так остро, так волнуются по пустякам? Почему вечно требуют объяснений, уточнений? Что и говорить, в ее письме есть и довольно-таки проницательные догадки, и приглушенная вспышка обиды от меня не ускользнула. Эти язвительные и не так чтобы совсем уж несправедливые упреки копились, наверно, долгое время. Может, мне и в самом деле нужна на неполный рабочий день этакая «старшая жена», нечто вроде бывшей наложницы в гареме, ставшей просто другом: она никуда не денется, с ней легко и привычно, и ничего от тебя не ждут, кроме дружеских чувств? (А изредка можно и побаловаться любовью. Да, такая гаремная ситуация мне подошла бы в самый раз.) И как у Лиззи не хватает ума понять? В моем письме не было ни слова о времени и пространстве, просто я подумал о ней, захотелось ее повидать. А она требует вразумительных ответов. «Поэкспериментировать»? Ну а если и так? Знает ведь, как я ненавижу излишества, а все равно изливается. Ей, видите ли, подавай «все». Ну так всего она не получит. И точка.

К Гилберту я не ревную, но слегка ему завидую! Он-то всех перехитрил. Взял к себе простушку Лиззи на роль милой, ласковой экономки, причем очень сомнительно, чтобы при этом так-таки перестал «охотиться». Сознаюсь, на Лиззи я до сих пор смотрю как на свою собственность. Как-то она во мне застряла. Да, она права, любовь видна, как комбинация из-под платья, как я сказал ей когда-то, когда у нее выглядывала комбинация. (Надо же, как эти женщины запоминают каждое твое слово.) Я бывал к ней невнимателен, даже жесток, но это можно назвать доказательством любви, как невнимание – доказательством доверия. И я, между прочим, отлично помню историю с такси после того завтрака в честь Сидни. Я видел, что Лиззи нацелилась уехать со мной, но в последний момент нарочно предложил подвезти и Нелл Пикеринг. Нелл – новая опереточная дива, я флиртовал с ней в течение всего завтрака. Ей двадцать два года. (Я бы не прочь иметь ее в моем гареме.) Бедная Лиззи. Не

пойму, с чего я вдруг написал ей это провокационное, полушутливое письмо? Или это страх перед одиночеством, страх смерти явился ко мне из моря?

Раз уж речь зашла о Лиззи Шерер, можно порассказать о ней и еще. Я полюбил Лиззи, когда мне стало ясно, как она любит меня. Ее любовь тронула меня, потом привлекла – так бывает. Я тогда режиссировал шекспировский сезон. Она влюбилась в меня во время «Ромео и Джульетты», я понял это во время «Двенадцатой ночи», мы познакомились ближе во время «Сна в летнюю ночь». Потом (но это было позже) я полюбил ее во время «Бури», а еще позже бросил ее во время «Меры за меру» (когда герцога играл Алоизиус Булл). Как сейчас помню тот день, когда до меня дошло, что она меня любит. Она играла Виолу (то был период ее недолгой славы, ее *annus mirabilis*). Уилфрид Даннинг, обычно игравший сэра Тоби Белча, пожелал тогда сыграть Мальволио. Настаивать ему не пришлось: я не стал возражать. Мальволио он был неподражаемый, но спектакль в целом погубил. Мы с Лиззи были одни в помещении церкви, там был ужасный сквозняк, но другого места для репетиций не нашлось. Был зимний вечер, освещение, почему-то запомнилось, – газовое. Лиззи добралась до четвертой сцены второго акта, а после слов «она молчала о своей любви» вдруг запнулась, точно поперхнувшись, и умолкла. Сперва я решил, что это она сама придумала сделать здесь такую эффектную паузу, и ждал продолжения. А она смотрела на меня. Потом в глазах у нее заблестели большущие слезы. Поняв, в чем дело, я рассмеялся, никак не мог остановиться, а тут и Лиззи рассмеялась и долго беспомощно смеялась сквозь слезы. Золотая была девочка. Она и теперь такая.

Почему-то я всегда представляю себе Лиззи в мужском костюме. Вначале она обратила на себя внимание как мальчик-герой в провинциальных пантомимах. Она тогда была очень тоненькая, чем-то похожа на мальчика, расхаживала в высоких сапожках и очень коротко стриглась. Ее заветной мечтой, так и не сбывшейся, было сыграть Питера Пэна. Она вполне сносно (хоть и недолго) исполняла роли шекспировских трагестов. (Сидни впоследствии готовил с ней Розалинду.) Я сделал из нее обворожительную Виолу, но величайшим ее триумфом в тот исторический сезон был Пэк. (В «Ромео и Джульетте» она была дамой без слов. Кто играл Джульетту – не помню, знаю только, что была из рук вон плоха.) Меня трогала ее любовь, ее идеальное послушание, но я в то время был связан с Розиной, и Лиззи оставалась для меня прелестным полупризрачным ребенком-эльфом. При виде ее я всегда смеялся, и она смеялась в ответ. Мы пересмеивались из разных углов ресторанов и в самые неподходящие моменты на репетициях. В силе ее любви я мог не сомневаться, хотя она никогда, даже в тот первый раз, ни слова об этом не сказала. Я считал это признаком хорошего вкуса. Все то время, что мы готовили «Сон», ее сияющий взгляд был обращен на меня, ее воля касалась моей и трепетала. Она понимала и слушалась и, хотя (как сказала мне позже) знала про Розину, пребывала в какой-то блаженной муке, что, признаюсь, доставляло мне приятное чувство. Может быть, это чувство было предвестником той любви к ней, которая позже на меня нахлынула. А от Розины я к тому времени уже порядком устал. В той постановке «Сна» Оберона играл Алоиз Булл (очень неровный актер), играл грубовато, и я жалел, что сам не взял эту роль. Для Лиззи это был бы предел мечтаний. После того сезона я уехал в Америку, и была гнусная голливудская авантюра, и первый скандал с Фрицци Айтемом. Я, кажется, и в Голливуд-то уехал, чтобы спастись от Розины; во всяком случае, я от нее спасся. Розина думала, что я бросил ее ради Лиззи, но она ошибалась.

Когда я вернулся в Англию, внезапно наступила передышка, атмосфера возвращенной невинности и душевного мира. Было лето. С Клемент все шло гладко, она в то время развлекалась с одним из своих молодых остолопов. После гнусностей Калифорнии я чувствовал себя свободным и счастливым. Хотелось вернуться к Шекспиру после того дерьма, с которым я возился в Америке. Один «дикий» американский режиссер по имени Исаия Моммсен предложил мне сыграть Просперо. Ариэля играла Лиззи. Более одухотворенного, более

«точного» Ариэля я в жизни не видел. Ее вдохновляла любовь ко мне, и я, поддавшись этим чарам, тоже полюбил ее. У меня было странное чувство, оно и теперь не прошло, что я люблю ее так, как мог бы любить сына. Она иногда называла себя моим пажом. У нее был хороший слух и приятный голосок, я до сих пор слышу, как она выводит: «Отец твой спит на дне морском». Ну как, мой ловкий дух, ты все живешь? Помню, она как-то сыграла Керубино в любительской постановке «Фигаро», и этот свой крошечный успех ценила чуть ли не превыше всего. Черт, меня только что осенило: не иначе как Гилберт Опиан видит в ней мальчика!

Моя любовь к Лиззи была в каком-то смысле невинной. (Боже мой, в какие гнусные дразги меня вовлекали и Рита, и Розина, и Жанна, и Дорис...) Невинность шла от Лиззи. Ее любовь была такая совестливая, такая умная. Она не пыталась, пользуясь своей властью, налагать на меня какие бы то ни было моральные обязательства. Читатель скажет: но обязательства-то были! Ну да, были, но какая-то высшая благодать, рожденная самоотверженностью Лиззи, словно упразднила их, и мы жили в безоблачном мире. Никогда она меня не упрекала. Можно подумать, она стремилась к тому, чтобы я не чувствовал себя в долгу перед ней, а только использовал ее для собственного счастья. Вот так, выраженное словами, это звучит цинично. Но на деле это был с ее стороны величайший, смиреннейший такт, а с моей – самая бережная благодарность. Мы берегли, щадили друг друга.

Но в то же время это было, конечно, безжалостной пыткой. (Почему я записал это с таким удовольствием?) Я с самого начала сказал ей, что не намерен на ней жениться. И все же, может быть, ее бесконечную доброту ко мне питала дурацкая, слепая надежда? Нет, это некрасивая мысль: не было у нее надежды. Я говорил ей, что наша связь не навек, что моя любовь к ней не навек и ее любовь ко мне, несомненно, тоже. Я толковал о том, что все на свете смертно, о том, как хрупки и нереальны человеческие планы на будущее, какая неразбериха царит в человеческой психике, а ее большие светло-карие глаза говорили мне о вечном. Она говорила – для тебя я хочу быть безупречной, чтобы ты мог покинуть меня без боли, а меня это безупречное проявление любви только злило. Она говорила – я буду ждать всю жизнь, хотя знаю... не жду... ничего. Это ли не любовный дуэт, и как я им упивался, хотя и мучился слегка ее муками. Сколько могла, она скрывала свою боль, но к концу это стало ей не под силу. Она плакала при мне с широко открытыми глазами, не утирая слез. Ее слезы дождем лились мне на рукав, на руку. И когда я наконец велел ей уйти, она ушла как тень, послушалась молча и быстро. После этого я совершил вторую поездку в Японию. Вкус саке до сих пор напоминает мне о слезах Лиззи.

С моим отъездом театральные успехи Лиззи кончились. (Все актрисы, которых я бросал, постепенно сходили на нет, кроме Розины. Клемент я, конечно, вообще не бросал, даже когда у нас обоих были другие любовники, что для последних было несладко.) Через два года после апофеоза Лиззи, после ее Ариэля, люди спрашивали: «А куда девалась Лиззи Шерер?» Я был ей так благодарен, из-за одного этого она во мне «застряла». Милая Лиззи, она ни разу не дала мне почувствовать, что я виноват! Свет мужества и правды озаряет ее в моей памяти. Возможно, она единственная женщина (за одним исключением), которая никогда мне не лгала. И мысль о ее муках не раз наполняла меня какой-то нежной радостью, в то время как о муках других женщин я думаю равнодушно, а то и с досадой.

Когда-то, когда я был молод, я хотел иметь жену, но та девушка исчезла. С тех пор я никогда не думал всерьез о браке. По моим наблюдениям, состояние это незавидное. Единственные счастливые женатые пары, которые я знаю, – это мои кембриджские друзья Виктор и Джулия Банстед, а в театре – Сидни и Розмэри Эш... Да и они... как знать. Люди скрытны. Можно бы причислить сюда еще Уилла и Аделаиду Боуз, но их брак не распался только потому, что она все время уступает – тоже, наверно, выход из положения. Мне же больше по

сердцу драма расставаний, предвкушение новых встреч. Я неспособен предпочесть пугающее постоянство брака магии свиданий и разлук. Меня и общая постель не привлекает, и мне редко хочется провести всю ночь с женщиной, с которой я спал. Утром она кажется мне шлюхой. Брак – это своего рода «промывка мозгов», приучающая нас мириться с многими ужасами. Как часто женатые люди, сами того не замечая, опускаются, делаются неряшливы, некрасивы, скучны. Порой я размышляю об этих ужасах, просто чтобы порадоваться тому, как счастливо я их избежал.

В этом отношении Клемент понимала меня прекрасно – может быть, потому, что, как она сама не уставала повторять, «годились мне в матери». Сколько раз, вся светясь своей прославленной красотой и обаянием, которые ей удавалось сохранять так долго, она сражала меня этими словами! Мы знали, что никогда не поженимся, знали, что доставим друг другу немало страданий, и все-таки строили счастливые планы на будущее, вдвоем изощрялись над решением этой проблемы. Случай, конечно, был безнадежный, но каким-то чудом этого безнадежного случая хватило Клемент на весь остаток жизни: значит, я не так уж плохо обращался с этой поразительной, неумной женщиной. Было ли немного жестоко с моей стороны никогда не признаваться, как сильно я люблю ее, постоянно держать ее на иголках, сбивать ее с толку, озадачивать, ставить в невыгодное положение? Допускаю. Я боялся, как бы она меня не «проглотила». Я уходил, возвращался, уходил снова. Она тоже не оставалась одна. Ее всегда осаждали мужчины. Я ее особенно не ревновал – разве что одно время к Маркусу, – потому что связан был с нею так крепко, точно она (ей я этого не говорил) и впрямь была мне матерью. В последние годы она стала очень раздражительна и деспотична и так трогательно все еще старалась мне угодить. Покончить с кокетством она не могла. Когда начались болезни, она очень подурнела, приходилось ей лгать по поводу ее внешности. От ее фигуры ничего не осталось, она ходила в вельветовых брюках и мешковатой кофте – ни дать ни взять старый холостяк, у которого вся одежда спереди в винных пятнах и крошках табака. И все-таки час в день проводила перед зеркалом со своей косметикой. Наверно, это – последняя радость, с которой расстанется женщина. Нет, о браке я никогда не думал. После той, первой девушки все женщины казались мне суррогатом. А может быть, я просто равнялся на шекспировских героинь.

Пишу это после обеда. На обед у меня было яйцо пашот в горячем омлете, потом окунь, тушенный с луком и капелькой порошка карри, а к нему – немножко кетчупа и горчицы. (Только глупцы презирают кетчуп.) Потом божественный рисовый пудинг. Приготовить отличный рисовый пудинг не так уж трудно, но многие ли это умеют? В честь окуня я выпил полбутылки мерсо. Вино у меня кончается.

Да, Лиззи. Она выдержала испытание временем. С другими я знал более сильную страсть при меньшем комфорте: таинственные глубинные предпочтения одних человеческих особей другим, проворные щупальца, ищущие во мраке, беспричинная, но несомненная любовь к А и равнодушие к В. С Лиззи мне было легко, ее ласковые, умные насмешки давали мне ощущение свободы. Да, решающая проверка – насколько тебе нужно, чтобы человек всегда был рядом. Это – точная мера, это важнее, чем страсть, или восхищение, или «любовь». Уж не заботит ли меня, кто станет за мной ухаживать, когда придет старость и страх? В общем, хорошо, что ее письмо можно понять как прямой отказ. Никаких тревог, никаких решений. Пусть все идет как идет. Что касается этого ничтожества Гилберта – да пропади он пропадом. Немножко удивляет только, как трогательно Лиззи в него верит. Она права, я мог бы оказать на них обоих страшный нажим, но, конечно, не сделаю этого. Достаточно я, видимо, навредил уже тем, что напомнил бедной Лиззи о своем существовании.

– Мистер Аркрайт, вы знаете, что такое полтергейст?

Мистер Аркрайт выдерживает презрительную паузу, не спеша протирает стойку. Его молчание – отнюдь не признак неуверенности.

– Знаю, сэр.

В слове «сэр» не почтительность, а сарказм.

– А вы не слышали, в Шрафф-Энде они водятся?

– Нет, сэр.

– Кто водится? Что он сказал? – спрашивает один из гостей.

– Полтергейст, – отвечает мистер Аркрайт, – это такой...

Он не находит слов, и я объясняю:

– Это такое озорное привидение, которое любит все ломать и бить.

– Привидение?

Все многозначительно умолкают.

– Вы не слышали, в Шрафф-Энде бродят привидения?

– Они во всяком доме бродят, – заявляет кто-то.

– Там миссис Чорни бродит, – раздается другой голос. – Она и похожа-то была на...

Сравнение ему не дается. Я меняю тему.

Мой вопрос к мистеру Аркрайту был продиктован не только гибелью моей безобразной вазы. Прошлой ночью случилось довольно-таки страшное происшествие. В шестом часу утра (как потом выяснилось) меня разбудил ужасающий грохот где-то внизу. Уже светало, но в прихожей и на лестнице всегда темно, и я зажег свечу. Сильно, не скрою, напуганный, я спустился в прихожую и увидел, что большое овальное зеркало упало на пол и разбилось вдребезги. Самое страшное то, что и проволока, на которой оно висело, не оборвалась, и гвоздь остался на своем месте в стене. Я был так потрясен и расстроен, что не стал подробно обследовать место происшествия, к тому же боялся, что погаснет свеча, – из двери отчаянно дуло. Сегодня утром я, как дурак, вытащил гвоздь из стены и выкинул, не разглядев его толком. Конечно же, он постепенно отгибался книзу под тяжестью зеркала, и в конце концов проволока с него соскочила. Почему-то мне неохота в это вдумываться, и мне очень жаль зеркала. Рама не пострадала, в нее можно вставить новое стекло, но то, старое, так прекрасно и таинственно отливало серебром. После этой встряски я заснул не сразу и даже не погасил свечу. А когда наконец заснул, мне приснилось, что миссис Чорни появилась из двери в нише и спрашивает, что я делаю в ее доме. Она была похожа на...

Подыскивая за шоссе место для моего огородика, я набрел на кустики превосходной молодой крапивы. А сегодня утром мне посчастливилось купить в деревне свежих домашних лепешек. Какая-то местная благодетельница иногда приносит их в лавку на продажу. Она, говорят, и хлеб печет, я уже оставил заказ. На второй завтрак у меня были холодные ломтики бекона и яйца пашот на крапиве (крапиву готовить как шпинат, я делаю из нее негустое пюре с чечевицей). После этого я услаждался лепешками с маслом и малиновым вареньем. Пил местный сидр и старался к нему привыкнуть. Винная проблема все еще маячит на горизонте.

Нашел в конуре еще несколько писем. Приходят они, видимо, нерегулярно, почтальона я еще ни разу не видел. От Лиззи ни слова. Приведу послание от моего кузена Джеймса, очень характерное.

Дорогой Чарльз!

Я узнал, что ты приобрел дом на берегу моря. Означает ли это, что ты расстался с театром? Если так, то это должно быть для тебя облегчением – не нужно больше работать в спешке, вечно помнить о сроках. Во всяком случае, хочется думать, что в твоём приморском убежище ты вкушаешь заслуженный отдых, что нашлось где расставить и развесить твои сокровища и что есть у тебя хорошая кухня, где разыгрывать твои

кулинарно-мистические действия! Оставил ли ты за собой твою лондонскую квартиру? По чести говоря, я уже считал тебя неисправимым лондонцем, так что твое бегство меня удивило. Видно ли из твоих окон море? Море всегда возвышает дух, отрадно видеть горизонт как чистую линию. Я бы и сам не прочь глотнуть немножко озона. В Лондоне жарко невыносимо, и уличный шум как будто еще усиливается от жары. Может быть, физики сумеют объяснить это какой-то связью с звуковыми волнами? Ты, наверно, много купаешься? Помню, каким ты всегда был заядлым пловцом. Буду рад получить от тебя весточку, а если окажешься в Лондоне, неплохо бы встретиться и выпить. Надеюсь, ты уже совсем обжился на новом месте и в ладах со своим домом. Любопытно, откуда у него такое необычное название. Как всегда, с наилучшими пожеланиями.

Джеймс.

Письма Джеймса звучат слегка покровительственно, словно он старший брат, а не младший кузен. Иногда они даже бывают так по-родительски назидательны, что собственные дела и поступки начинают казаться детской игрой. И в то же время в этих письмах, которые я получаю регулярно два-три раза в год, за скучным педантством словно сквозит легкое безумие.

Пожалуй, сейчас самое время поговорить о моем кузене более подробно и откровенно. Не то чтобы он когда-нибудь играл в моей жизни важную роль, и в дальнейшем я этого не предвижу. Последние двадцать лет мы видаемся все реже, а в самое последнее время и вовсе почти не встречались. Упоминание в его письме насчет того, чтобы «встретиться и выпить», – это, конечно, пустая дань вежливости. Я редко знакомил Джеймса с моими друзьями (о женщинах и говорить нечего), а он меня – со своими, если они у него есть. (Интересно, от кого он узнал про мой «дом на берегу моря». Увы, скорее всего, и это попало в газеты. Неужели пресса и здесь не оставит меня в покое?) Нет, кузен Джеймс никогда не был важным или активным фактором в повседневных событиях моей жизни. Роль его чисто психологическая.

Мы встречаемся редко, но, когда встречаемся, ступаем на почву глубокую и древнюю. Оба мы единственные дети, сыновья братьев-погодков (дядя Авель был чуть моложе моего отца), у которых не было ни других братьев, ни сестер. Мы нечасто предаемся воспоминаниям, однако воспоминания детства у нас общие, делиться ими нам больше не с кем. Некоторые люди, даже если их ценишь, навсегда остаются зловещими свидетелями прошлого. Для меня такой свидетель – Джеймс. Неясно даже, симпатизируем ли мы друг другу. Узнай я сегодня, что Джеймс умер, я бы, возможно, счел эту новость приятной, но что это доказывает? *Cousinage, dangereux voisinage*¹¹ для нас имело совсем особое значение. Я заметил, что употребил прошедшее время; и правда, как подумаешь, в большой мере все это теперь дело прошлого, плохо только, что до глубин нашего сознания представление о времени вообще не доходит. С годами мне все легче становится не усматривать в образе Джеймса ничего опасного. Как-то раз один мой друг (это был Уилфрид), встретившись с ним у меня, сказал: «Похоже, твой кузен – человек во всем изверившийся». Я словно прозрел, и у меня сразу отлегло от сердца.

В детстве я никак не мог решить, кто из нас настоящий, Джеймс или я. Почему-то было ясно, что оба мы не можем быть настоящими, один из нас должен жить в реальном мире, а другой – в мире теней. Джеймс всегда был до противности неуязвим. Что ж, так пошло с самого начала. Как я уже говорил, мне рано открылось (путем того психологического осмоса,

¹¹ Родство – опасное соседство (фр.).

к которому так склонны дети), что дядя Авель женился более «выгодно», чем мой отец, и что в таинственной, но непреложной житейской иерархии семейство Авеля Эрроуби занимает место выше семейства Адама Эрроуби. Моя мать ощущала это различие очень остро и в глубине своей религиозной души наверняка старалась не придавать ему значения. (Говоря о тете Эстелле, она как-то по-особенному выделяла слова «богатая наследница».) Отец, я уверен, действительно не придавал бы этому значения, если бы не я. Помню, он как-то сказал таким странным, чуть ли не виноватым тоном: «Очень мне жаль, что я не могу подарить тебе такого пони, как у Джеймса...» В ту минуту я любил его так неистово и в то же время чувствовал (сколько мне тогда было, десять лет, двенадцать?), что не способен выразить мою любовь, что он, может быть, и не знает про нее и не догадывается. Знал он или нет?

По части материальных благ жизнь наших семей, безусловно, сложилась неодинаково. Джеймс был гордым обладателем вышеупомянутого пони, а затем и еще целого ряда лошадей, и весь уклад его жизни выражался для меня в словах «собственные лошади». И сколько же мучений я претерпел от этих проклятых лошадей! Когда я бывал в Рамсенсе, Джеймс иногда предлагал мне прокатиться, а дядя Авель (тоже заядлый наездник) готов был поучить меня верховой езде. Но как ни страстно я об этом мечтал, я всегда отказывался – из гордости, с деланным равнодушием; и по сей день я ни разу не сел на лошадь. Более важным предметом зависти, если и не столь жгучей, были путешествия на континент. Дядя Авель ездил с женой и сыном за границу почти на каждые каникулы. Они объездили всю Европу. (У нас, конечно, машины не было.) Они побывали в Америке у родных тети Эстеллы, о которых я нарочно не расспрашивал. Я не выезжал из Англии до поездки в Париж с Клемент после войны. Я завидовал не только их лошадям и машинам, но их предприимчивости. Дядя Авель был выдумщик, искатель приключений, изобретатель, даже гедонист – не то что мой милый, добрый отец. Дядя и тетя ни разу не брали меня с собой в свои сказочные путешествия. Лишь много позже мне пришло в голову – и эта мысль вонзилась мне в мозг как заноза (кажется, она до сих пор где-то там сидит), – что они не приглашали меня, потому что этого не хотел Джеймс!

Как я уже сказал, такое положение дел заботило моего отца только из-за меня. И меня оно заботило из-за меня, но, кроме того, совершенно независимо, из-за него тоже. Мне было обидно за него. За него я огорчился так, как он, при своем великодушном и мягком характере, за себя не огорчился. И я чувствовал, даже ребенком, что тем самым отстаю от него в нравственном отношении. У меня был хороший дом, любящие родители, но я не мог не жаждать тех благ, которые, равняясь на отца, в то же время и презирал. Я не мог не взирать на дядю Авеля и тетю Эстеллу как на существа высшие, почти богоподобные, по сравнению с которыми мои родители казались незначительными и скучными. При таком сравнении я не мог не видеть в них неудачников. И в то же время я знал, что мой отец – человек положительный и достойный, а дядя Авель, всегда такой эффектный, – самый заурядный, законченный эгоист. Я, разумеется, не хочу сказать, что мой дядя был нахал или хам, отнюдь нет. Он любил свою красавицу-жену и, насколько я знаю, не изменял ей. Был, насколько я знаю, ласковым и требовательным отцом. Я ни минуты не сомневаюсь, что работал он добросовестно и в денежных делах был безупречно честен – словом, «примерный гражданин». Но это был самый обыкновенный эгоцентрик и сенсуалист, самый обыкновенный удачливый делец. А мой отец – пусть никто, кроме моей матери и меня, этого не знал – был совсем не такой, он был особенный.

И вопреки всему этому я только что не боготворил дядю Авеля и танцевал вокруг него, как собачонка. Во всяком случае, в детстве. Позже, из-за Джеймса, я держался с чуть большим достоинством. Бывало ли моему отцу больно оттого, что дядя Авель казался мне таким живописным? Возможно. Сейчас эта мысль наполняет меня пронзительной грустью. Он не дорожил мирскими благами, но, может быть, втайне жалел, опять-таки ради меня, что начи-

сто лишен внешнего блеска. Мать, возможно, догадывалась об этих его сожалениях (а может, с ней он ими делился), и не этим ли объясняется та раздражительность, которую она не всегда умела скрыть при упоминании о дядиной семье, а в особенности после того, как они побывают у нас в гостях. Они, надо сказать, навещали нас нечасто; им становилось не по себе, когда моя мать, чувствуя, что не может их принять так, как того требует их богатство и положение, начинала извиняться за наш более чем скромный образ жизни. Жили мы, к слову сказать, в районе, где одиночество сочеталось с невозможностью укрыться от чужих глаз. В каменный, окруженный деревьями Рамсенс я обычно отправлялся один, потому что для моей матери было пыткой находиться под кровлей зятя, а для отца было пыткой находиться под чьей-либо кровлей, кроме своей.

А теперь, упомянув о матери, я должен кое-что рассказать о тете Эстелле. Как я уже сказал, она была американка, но из каких именно мест – не помню и, вероятно, никогда не знал. Америка в те времена была для меня чем-то очень большим и туманным. Где они познакомились с дядей – тоже не знаю. В тете Эстелле воплотилось для меня некое общее представление об Америке: свобода, веселье, шум. Там, где была тетя Эстелла, там был смех, джаз и (о ужас!) вино. И опять я рискую быть неправильно понятым. Ведь речь идет о ребяческих бреднях. Тетя Эстелла не злоупотребляла спиртным, а ее «выходки» – не более как избыток энергии; здоровье, молодость, красота, деньги. В ней было бессознательное великодушие женщины, которой решительно во всем повезло. Меня, когда я был маленьким, она экспансивно ласкала и привечала. Моя мать, человек отнюдь не экспансивный, относилась к этим (возможно, наигранным) изливаниям холодно, но меня они пленяли. У тети Эстеллы был приятный голосок, она любила напевать песенки времен Первой мировой войны и последние модные шлягеры («Розы Пикардии», «Тихо по тюльпанам», «Так печально», «С Дженни в тумане в аэроплане» и прочую классику в том же роде). Помню, однажды в Рамсенсе, когда она зашла ко мне вечером проститься, она мне спела песенку про то, что «одному при луне сидеть на плетне совсем не интересно». Меня эта песенка рассмешила, и, вернувшись домой, я попробовал позабавить ею родителей, что, конечно, было ошибкой. («Скучно сидеть под зеленой сосной в обнимку с самим собой».) Тете Эстелле я, вероятно, обязан тем, что поющий человеческий голос всегда глубоко, почти пугающе волнует меня. Странно и жутко выглядят на сцене открытые рты певцов и особенно певиц – блестящие белые зубы, влажная красная пасть. В общем, тетя Эстелла была для меня фигурой символической, сверхсовременной, даже футуристической, как вещий зов в мое собственное будущее. Она обитала в стране, которую я был твердо намерен найти и завоевать. Примерно так оно и случилось, но, когда я стал в той стране королем, ее уже не было в живых, и странно думать, что мы, в сущности, не знали друг друга, никогда с ней, в сущности, не разговаривали. Как легко нам было бы в последующие годы забыть о разнице в возрасте и с каким удовольствием мы могли бы общаться! Я изредка упоминал о ней в разговорах с Клемент, и та говорила, что из всей моей родни только с ней была бы рада познакомиться. (Родители мои, разумеется, никогда не видели Клемент – им было бы очень тяжело узнать, что я открыто живу с женщиной вдвое меня старше; а с тетей Эстеллой я мог бы ее познакомить.) Когда тетя Эстелла погибла в автомобильной катастрофе, мне было шестнадцать лет, и горевал я меньше, чем можно было ожидать. У меня в то время были другие заботы. Но грустно думать, что, хотя она, на свой рассеянный лад, была ко мне так добра, для нее я, вероятно, остался всего лишь неловким, неотесанным, неприметным кузеном Джеймса. А для меня она была чудом, знамением. Третьего дня, разбирая в Шрафф-Энде всякие мелочи, я нашел ее снимок. Снимков моей матери не нашлось ни одного.

Нельзя сказать, чтобы моя мать строго судила тетю Эстеллу или очень уж не одобряла ее поведения, хотя от спиртного и шума ее всю передергивало; и не то чтобы она завидовала: ведь ей не нужны были те мирские блага, что составляли усладу тети Эстеллы. Нет, самое ее

существование глубоко удручало мою мать, а ее посещения, как я уже упоминал, вызывали мрачную раздражительность. Возможно, дядя и тетя считали, что меня воспитывают слишком строго. Глядя со стороны и видя запреты, но не видя любви, эти запреты диктующей, люди склонны слишком поспешно зачислять других людей в разряд «узников». Я вполне допускаю, что умный дядя Авель и эмансипированная тетя Эстелла жалели моего отца и меня и осуждали мою мать за то, что считали с ее стороны деспотизмом. Если мать догадывалась о таком их отношении, ей, конечно, это было обидно; и возможно даже, что эта обида толкала ее на то, чтобы быть с нами еще строже. Возможно и то, что, прозревая мои ребяческие фантазии об Америке, которую в моих глазах воплощала собой тетя Эстелла, она ревновала. Много позже я спросил себя, уж не воображала ли она, что мой отец был неравнодушен к своей неугомонной невестке? Но нет, я уверен, что он не питал к тете Эстелле никаких глубоких чувств, опять-таки если не считать меня, и что мать это знала. (До чего эгоистично все это звучит, точно вся жизнь родителей только вокруг меня и вертелась. Но ведь так оно и было.) Со временем я перестал предвкушать посещения тети Эстеллы (хотя радовался им по-прежнему), потому что они так удручали и сердили мою мать. Эти визиты всегда нанесли нашему дому какой-то ущерб, от которого он не сразу мог оправиться. Мы выходили проводить их на крыльцо, и, когда «роллс-ройс» наконец скрывался из вида, мать сжимала губы, отвечала односложно, а мы с отцом ходили на цыпочках и старались не встречаться глазами.

В школе мне было хорошо, но там не было ни закадычных дружб, ни волнующих происшествий, не было и горячо любимых учителей, хотя некоторые из них, например тот же мистер Макдауэл, имели на меня влияние. Дядя и тетя маячили как огромные романтические образы, как точки приложения смутных чувств на фоне, в общем-то, до странности пустого детства. Но они оставались далекими, словно в дымке, словно в тумане, – отчасти, конечно, потому, что мною интересовались только между прочим. Я никогда не чувствовал, что они по-настоящему меня видят или хотя бы пытаются разглядеть. С Джеймсом все было иначе. С самых ранних лет мы с ним без слов, но постоянно, остро и подозрительно ощущали существование друг друга. Мы наблюдали друг за другом, инстинктивно скрывая это взаимное внимание от родителей. Не могу сказать, что мы боялись друг друга: боялся я, и не столько Джеймса, сколько чего-то, что стояло за ним. (То было, надо полагать, мое еще неясное представление о собственной жизни как неудаче, как полном провале.) Но наши отношения были словно окутаны облаком неуюта и тревоги. И все это, конечно, без звука: мы никогда не говорили об этой скованности, нас разделявшей; возможно, мы бы и не нашли для этого слов. И едва ли наши родители об этом догадывались. Даже мой отец, знавший, что я завидую Джеймсу, об *этом* и понятия не имел.

Повторяю, я не чувствовал себя с Джеймсом свободно отчасти из страха, что он преуспеет в жизни, а я нет. Это, вдобавок к лошадям, было бы уже слишком. Невозможно сказать, в какой мере моя «воля к власти» была порождена глубоко скрытым давнишним желанием в чем-то превзойти Джеймса и поразить его воображение. Не думаю, чтобы Джеймс тоже стремился меня превзойти, а может быть, он знал, что ему для этого и стараться не нужно. Все преимущества были на его стороне. Он получил куда лучшее образование (о чем я не мог думать без скрежета зубного). Я ходил в местную классическую школу (добропорядочную и скучную, ныне уже не существующую), Джеймса отдали в Винчестер. (Впрочем, там были свои недостатки. В него они въелись прочно. Говорят, мало кому удается от них избавиться.) Я сам себе дал вполне приличное образование, а главное – я приобщился к Шекспиру. Но Джеймс, как мне тогда казалось, учился решительно всему. Он знал латынь, греческий и несколько новых языков. Я немного знал французский, еще меньше – латынь. Он много знал о живописи, регулярно посещал музеи Европы и Америки. Он мог порассказать о разных странах. Он был среди первых по математике, получал призы по истории. Он

писал стихи, и их печатали в школьном журнале. Он блистал, и, хотя вовсе не был хвастлив, я, когда бывал с ним, все острее ощущал себя провинциалом и варваром. Я чувствовал, что пропасть между нами ширится, и из этой пропасти, в которую я все пристальней всматривался, на меня глядело отчаяние. Было ясно, что моему кузену написан на роду успех, а мне – поражение. Интересно, насколько все это понимал мой отец?

Перечитал эти страницы и опять чувствую, что создаю неверное впечатление. Автобиография, какой же это, оказывается, трудный жанр! Обида, неистовое честолюбие, которое Джеймс (совершенно, я уверен, бессознательно) пробудил во мне, – все это росло постепенно и бушевало с перерывами. В раннем детстве, да и позднее, мы с Джеймсом играли как самые обыкновенные мальчишки. У меня было мало товарищей – мать не любила, чтобы у нас бывали другие дети. (Я не жаловался – я сам не очень-то любил других детей.) А Джеймс, если у него и были товарищи, не знакомил их со мной. И мы играли вдвоем, но при этом далеко не всегда так болезненно следили друг за другом, как можно заключить из рассказанного выше. Но и в обычных играх превосходство Джеймса обнаруживалось без всяких усилий с его стороны. Он больше моего знал о цветах и птицах, ловко лазил на деревья. (Совсем маленьким он, помню, всерьез собирался научиться летать!) Он прекрасно ориентировался без дорог. Каким-то шестым чувством обнаруживал нужные места и вещи. Всегда первым находил закатившийся мяч; а однажды мгновенно отыскал мой старый игрушечный самолетик, стоило мне сказать, что я потерял его.

Пока я огорчал своих родителей, изучая театральное искусство в Лондоне, Джеймс был примерным студентом в Оксфорде, где занимался в основном историей. В эту пору мы совсем разошлись; я не жаждал узнавать о новых и новых его триумфах, отказывался интересоваться его планами. Каковы бы ни были эти планы, они не осуществились, потому что началась война. Он вступил в полк каких-то там стрелков, позже их прозвали «зеленые куртки», и с тех пор на всю жизнь стал военным, хотя в то время едва ли это предвидел. Сейчас мне и думать о нем трудно иначе как о военном. Войну он провел весьма интересно (пока я разъезжал в автобусах с шекспировскими спектаклями для шахтеров). В какой-то момент я узнал, что он в Индии, в Дехрадуне. У меня были свои проблемы, главным образом первая любовь и ее последствия, а затем первые стычки в долгой войне с Клемент. О приключениях Джеймса я узнал в общих чертах позднее. Он совершил несколько восхождений в горы. Заинтересовался Тибетом, изучил тибетский язык и периодически исчезал верхом за линией границы. (Вот когда ему, наверно, пригодилась домашняя выучка.) Затем его послали с какой-то миссией или миссиями к какому-то тибетскому правителю – что-то связанное с германскими военнопленными. Времяпрепровождение это было захватывающее, но в боях он, сколько я знаю, не участвовал. Я все опасался, что он вот-вот получит крест Виктории. Но что он храбрый человек в том смысле, в каком про меня этого не скажешь, – в этом я никогда не сомневался.

Мои родители очень удивились, узнав после войны, что Джеймс решил стать кадровым военным. Они говорили, что дядя Авель разочарован этим решением. Дядя Авель мысленно видел Джеймса премьер-министром. (Это было уже после смерти тети Эстеллы.) А я вроде бы даже приободрился – мне показалось, что Джеймс сделал неправильный ход. Я тогда начинал утверждаться в театре, моя «воля к власти» уже приносила кое-какие плоды, и Клемент была в моей жизни как нескончаемый карнавал. Так, значит, кузен Джеймс будет военным. Дядя Авель говорил, что это временно, что Джеймсу просто хочется иметь побольше свободного времени и писать стихи. Моя мать говорила, что дядя Авель высосал это из пальца. Никто из нас как будто и не вспомнил, что армия тоже, и притом с незапамятных времен, служит дорогой к власти и славе.

Сразу после войны, когда происходили трогательные встречи ее уцелевших участников, я довольно часто видался с Джеймсом, но потом он опять исчез. Он только и делал, что исчезал. Вернулся из Индии и получил назначение в Германию. Потом снова был в Англии, учился в штабном колледже, потом снова Индия. Позже один человек сказал мне, что он был послан в Тибет с секретным поручением – разведать, что предпринимают в этом районе русские. Мне он, конечно, ни слова не говорил о своей работе. Его маршруты я себе более или менее представлял, потому что он регулярно, два раза в год, присылал мне открытки с видами – к Рождеству и ко дню рождения. Я не оказывал ему таких знаков внимания, но если получал письмо, то всегда отвечал, хоть и кратко. Его письма, по большей части скучные, не содержали никаких интересных сведений. В следующий раз он появился в Лондоне сразу после китайского вторжения в Тибет. Ни до того, ни после я не видел его в таком волнении. Было ясно, что для него это личная трагедия. Он с горечью клеймил недомыслие тех, кто не понял, что настоящая угроза исходит не от России, а от Китая. Но больше всего огорчало его не то, что в верхах пренебрегли разумными советами (возможно, его собственными), а то, что рушится нечто очень ему дорогое. Он скоро подавил это чувство и никогда больше со мной этой темы не затрагивал.

Следующую открытку я получил из Сингапура, а в следующем письме, тоже из Сингапура, он выражал соболезнование по поводу смерти моего отца. (Как он о ней узнал?) После этого я потерял Джеймса из виду, потому что на какое-то время потерял из виду все и вся, свет погас в моей жизни. Я оплакивал отца долго и горестно. Боль от утраты этого доброго, прекрасного человека не прошла до сих пор. И, словно этого было мало, посыпались новые беды. Я ушел от Клемент, запутался в связях с другими женщинами; и профессиональная моя карьера пошла прахом, как казалось тогда – окончательно. Вскоре после этого умерла моя мать, и я воспринял ее смерть не как отдельное событие, а лишь как неотвратимое дополнение к смерти отца. А еще немного позже умер дядя Авель. Я к тому времени уже давно перестал им восхищаться, перестал даже думать о нем. Помню, что собирался написать Джеймсу, но так и не написал. Помню и то, что только тут впервые задумался, каково было Джеймсу, совсем еще юному, когда умерла его изумительная мать. Меня-то участь тети Эстеллы не так уж потрясла, мне хватало своих горестей. А что должен был пережить Джеймс, об этом я не подумал.

Я упомянул об одном человеке (следовало сразу его назвать, его зовут Тоби Элсмир), от которого слышал о секретных миссиях Джеймса в Тибет. Этот человек, ничем, вообще-то, не примечательный, изредка сообщал мне кое-какие сведения о моем кузене. Они вместе учились в школе и служили в «зеленых куртках». Элсмир стал биржевым маклером, потом издателем, вкладывал деньги в театральные предприятия, на этой почве мы с ним и познакомились. Немного спустя после моей полосы невезения мы встретились на вечере по случаю какой-то премьеры, и Элсмир сказал: «Вам, вероятно, известно, что ваш кузен стал буддистом?» Эта новость поразила меня и заинтриговала безмерно. Я никогда не связывал Джеймса с религией. Нас обоих растили в понятиях того туманного английского христианства, которое уже в юности выветривается. Моя мать, надо отдать ей справедливость, не навязывала ни отцу, ни мне своих узкоевангелических верований. Возможно, считала, что это «грешно». Однако она априори считала нас христианами. Мы ходили в англиканскую церковь. С Джеймсом мы, конечно, никогда не говорили о религии. Доведись мне задуматься над этим в молодости, я, вероятно, сказал бы, что руководящий этический принцип в жизни Джеймса – не быть вульгарным. Религия как стиль поведения? Что ж, бывает и хуже. Вот уж не думал, что он способен увлечься мистикой экзотического Востока. Очень, очень странно.

Удивлялся я, впрочем, недолго. В конце концов, как это можно понять? Не мог же Джеймс уверовать в переселение душ. Следующая наша встреча состоялась, уже когда в нашей жизни наступила, можно сказать, новая эра. Смерть моего отца, мой период профес-

сионального отчаяния, мои злоключения в Голливуде – все это было позади. С Клемент я помирился. (Мы вместе ездили в Японию.) Я успел прославиться, поистине стал королем в стране тети Эстеллы. Я спросил Джеймса: «Так ты, говорят, буддист?» Он ответил с улыбкой: «А как же!» – и тон его мог означать либо «да», либо «что за чушь!». Я заговорил о другом. С годами он все больше времени стал проводить в Лондоне, работал в Министерстве обороны и сейчас там работает. Его квартира в Пимлико битком набита Буддами, но она битком набита всяким восточным хламом, в том числе, надо думать, и индуистским.

Джеймс теперь, конечно, генерал. Не помню, какой именно. На своем поприще он, думаю, тоже прославился. А тайное ощущение, что я «выиграл игру», происходит от того, что он, по-моему, изверился в жизни, а я нет.

– Там человек в одну секунду утопнет.

– В три секунды.

– В одну.

– В три.

Образчик дискуссий в «Черном льве». Завсегдатаи словно воспринимают как личную обиду, что я купаюсь в море, которым они гордятся как потенциальным убийцей. Рассуждения в таком духе – разумеется, обращенные не ко мне – начинаются, как только я появляюсь в трактире.

Я вступаю в разговор:

– Я хорошо плаваю.

– Вот такие-то и топнут.

– Голяком плаваете, – добавляет кто-то.

– Голяком?

– Плаваете, говорю, голяком.

– А-а, без трусов.

Значит, за мной наблюдают.

Они смотрят на меня молча, с тупой неприязнью.

– Тюленей еще не видали? – бодро спрашивает мистер Аркрайт.

– Пока нет.

Нынче утром, наведавшись к башне, я с сожалением обнаружил, что моя «веревка» из занавески тоже каким-то образом отвязалась и исчезла. Я все же выкупался. Кажется, мускулы у меня окрепли, и вылезать на берег я наловчился. Но при этом всегда умудряюсь исцарапаться или порезаться. Желтые скалы, издали такие гладкие, на самом деле шершавые и колючие, словно обклеены миллионами крошенных острых осколков от ракушек. Вчера я нырял со своего утеса во время прилива и выбрался благополучно, хотя легкая тревога и подпортила мне удовольствие. Но я не уроню себя в глазах «Черного льва», не дождутся они, чтобы я пошел на «дамское купанье»!

Сегодня все небо затянуто приятной, очень легкой дымкой, а у моря вид обманчиво смиренный, словно маленькие серебристые волны изо всех сил ластятся к скалам, решив не выдавать себя ни единым белым гребешком. Это плотное, светлое, благодушное море, очень красивое. Тюлени в нем должны быть непременно, сегодня и волны-то почти как тюлени, и все-таки я тщетно оглядываю водный простор в полевой бинокль. Огромные желтоклювые чайки, усевшись на скалах, вперяют в меня блестящие стеклянные глаза. Баклан на бреющем полете носится над глицериновым морем. Сонмы бабочек кружат возле скал. По-прежнему жарко. Стираю белье и сушу его на своей лужайке. От ежедневного купанья чувствую себя крепким, просоленным. Лиззи все молчит, но меня это не волнует. Мне хорошо в моей тишине. Если боги припасли для нас с Лиззи какой-то праздник – отлично. Если нет – тоже отлично. Ощущение невинности и свободы. Может, все оттого, что много купаюсь.

Как высокопарно, почти выпендренно я выражаюсь, став писателем! Многие драматурги, я знаю, смотрят на повествовательную прозу как на некий чужой язык, которым и не мечтают овладеть. Возможно, и я одно время чувствовал нечто подобное. А вот гляди ж ты, сколько страниц я уже исписал! Сейчас перечел эскиз, посвященный Джеймсу, – право же, неплохо. Но правдивый ли это портрет? Нельзя сказать, чтобы он был совсем уж недостоверен, но написано слишком мало и слишком гладко. Как описывать настоящих живых людей? В моем описании Джеймс выглядит таким законченным, таким жестким. Я еще не сказал, что у него мелкие квадратные зубы и по-детски глуповатая улыбка. Иногда он точно забывает закрыть рот. Нос у него с горбинкой и смуглый цвет лица. Тетя Эстелла тоже была смуглая. Может быть, в ней была доля индейской крови?

Нужно уделять этим портретам больше труда. Может, к этому и сведется моя книга – просто моя жизнь, рассказанная как серия портретов всяких людей, которых я знал. До чего же разношерстная компания: Клемент, Розина, Уилфрид, Сидни, Перегрин, Рита, Фрицци, Жанна, Алоиз Булл... Нужно писать о Клементе. Она – моя главная тема. Какая злая она стала в конце, когда потеряла свою красоту и начала терять рассудок. И какая бывала противная и скучная, когда в сотый раз принималась рассказывать все те же скандальные, непристойные истории. Невыносимая атмосфера в ее квартире, запах спиртного, запах слез и истерик. Ее низкий, зычный, пьяный голос – попреки, попреки, попреки. Как я это выдержал? Кажется, с честью. Как только я узнал, что она обречена, на помощь мне пришли снисхождение, сострадание. Звучит цинично. Но я всегда любил ее; и мы были вознаграждены. В самом конце мы оба были безупречны. Бедная Клемент. Страшное это царство – старость. Скоро я и сам в него вступлю. Не потому ли мне вдруг понадобилась Лиззи?

Пишу на следующее утро. А вчера поздно вечером, когда я писал в гостиной, случилось что-то непонятное. Я поднял голову и какой-то миг был уверен, что вижу лицо, глядящее на меня через стекло из внутренней комнаты. Я застыл на месте, пораженный ужасом. Я видел это лицо только мгновение, но совершенно отчетливо, хотя описать его не смог бы. Может быть, то, что я его не запомнил, имеет значение? Немного погодя я, конечно, отправился на рекогносцировку. Новую керосиновую лампу удобно переносить с места на место, так что мне не пришлось заглядывать во все углы со свечой. И конечно, ничего интересного я не увидел. Я даже обошел весь дом. Признаюсь, мне было очень не по себе. Нарочно замедляя шаг, я поднялся по лестнице, лег в постель и принял снотворное. Ночью мне слышалось, что постукивает занавеска из бус, но это явление объяснимое. К утру поднялся ветер, и море опять синее с белым.

Я подумываю о двух возможных решениях вчерашней загадки. Во-первых, я мог просто увидеть в черном стекле свое отражение. Но ведь я писал сидя (а тут, может быть, встал, сам того не заметив?) и голова моя приходилась намного ниже внутреннего окна. Да и лицо появилось не в нижней части окна, а выше, а значит (тоже идея!), принадлежало либо кому-то очень высокого роста, либо кому-то, кто на что-то влез. (Но влезать там не на что, ведь складной столик я перенес сюда.) Вторую гипотезу я проверю вечером. Вчера окно, выходящее на море, не было занавешено и светила почти полная луна. Может быть, луна и отражалась во внутреннем окошке?

«Повсюду полно богов», – сказал однажды кузен Джеймс, цитируя кого-то. Может быть, меня всю жизнь окружают маленькие боги и духи и только магия театра держала их в узде или отгоняла? Актеры – люди суеверные, это давно известно. А теперь мы, значит, остались с глазу на глаз. Ладно, манией преследования я никогда не страдал и теперь не собираюсь.

Надо наконец побывать в отеле «Ворон», пополнить запас вина. И пожалуй, не стоит больше заводить в «Черном льве» разговоры про привидения и морских чудовищ.

Решил сегодня не купаться.

Ходил за покупками. В лавке все обещают салат, но пока не получали. Свежей рыбы, конечно, тоже нет. Нашел еще несколько писем в каменной конуре. От Лиззи ни слова, зато подал о себе весть Перегрин Арбелоу. На второй завтрак приготовил свое любимое вегетарианское рагу: лук, морковь, помидоры, мука, чечевица, перловка, растительный белок, сахар и прованское масло. (Растительный белок привез с собой из Лондона.) Перед самой едой накапать лимонного сока. Блюдо очень легкое, добавил к нему печеную картофелину со сливочным сыром. Затем булочка и чернослив. (Чернослив – объединение, если как следует приготовить. Промыть, откинуть, добавить лимонного сока или апельсиновой воды, только не сливок.) На случай, если читателя удивит, почему в моем меню отсутствуют яблоки, скажу, что это единственный случай, когда мне повредил мой аристократический вкус: из всех сортов яблок я признаю только оранжевый пепин, так что с апреля по октябрь ношу по яблокам траур.

Для первого знакомства с Перегрином приведу его письмо.

Чарльз, как живешь? Мы тут все сгораем от любопытства. Выходит, ты так-таки никого не приглашал? Но тебе без нас должно быть дьявольски скучно. Или ты тайком вернулся в свою лондонскую квартиру, отключил телефон и выходишь только по ночам? Кто-то говорил, что твой дом стоит на голом мысу, омываемом волнами, но это, по-моему, враки. Я скорее вижу тебя в уютном коттедже на набережной. Не представляю, чтобы ты мог жить без твоей электрической соковыжималки. Если ты действительно изменил образ жизни, я этого просто не вынесу. Ведь я сам всегда хотел это сделать, но не мог и не смогу. Сдохну в постели таким же подонком, каким жил. Я тут пил неделю без просыпа, когда вернулся из ада, сиречь из Белфаста. Цивилизация – ужасная вещь, но не воображай, что ты можешь от нее спастись. Я хочу знать, чем ты занят. И не воображай, что можешь от меня спрятаться, я – твоя тень. Собираюсь навестить тебя на Трошцу. (Кто-то предложил пари, что не рискну, а против пари, ты знаешь, я не могу устоять.) Всякие люди просили бы передать тебе приветы, если б знали, что я пишу, но никакие это не приветы, а просто нахальное любопытство. Мало кто тебя достоин, Чарльз. Принадлежит ли к их числу нижеподписавшийся? Время покажет. Захватит мне с собой купальные трусы? Я не купался в море с наших исторических дней в Санта-Монике. Есть еще версия, что ты якобы вообще не в Англии, а укатил в Испанию с женщиной. В опровержение чего изволь написать. Тень твоя приветствует тебя.

Перегрин

Сейчас, позавтракав (а мне и правда недостает моей выжималки), я сижу наверху у окна. Небо в тучах, море беспокойное, сине-серое, какого-то враждебного, неприятного цвета. Чайки справляют поминки. В доме сыро. Возможно, я еще угнетен вчерашним происшествием, хотя это, конечно, была галлюцинация, не более того. (Однако насчет луны я все-таки проверю.) И я хотя бы вправе написать «угнетен», а не «напуган». Бояться тут нечего.

Наброшаю, пожалуй, кое-какие штрихи к портрету Перегрин. В этой связи придется поговорить о Розине, а об этой даме я предпочел бы забыть. Что ж поделаешь, взялся за автобиографию, так нельзя все время только ублажать себя.

Перегрин (он терпеть не может, когда его называют Перри, так же как я, когда меня называют Чарли; меня так зовут только те, кто совсем меня не знает) – один из тех людей,

что составили себе четкое представление о той жизни, какой они хотят жить, и о роли, какую хотят играть, и живут и играют, не считаясь с кем бы то ни было, особенно со своими близкими. И самое странное то, что такие люди могут заблуждаться, могут, так сказать, ошибаться в своем амплуа и все же борются и побеждают – отчасти потому, что их «жертвам» легче иметь перед глазами простой, определенный тип, нежели разбираться и анализировать. Перегрин, человек во многих отношениях мягкий и добрый, выбрал себе роль грубияна и медведя. В этой роли он с необыкновенной легкостью наживает себе врагов. Я лично считаю, что без надобности наживать врагов в театре, да и вообще в жизни, – это недостаток профессионального умения, а он, как дурак, вечно лезет на рожон. Ему недостает шепетильности подлинного артиста. Мне все время приходилось его терроризировать, чтобы являлся на спектакли трезвым. У него есть задатки прекрасного актера, но есть и зазнайство, и халатность, такая ирландская бесшабашность, и очень уж он снисходителен к самому себе.

Перегрин – ольстерский католик, учился на медицинском факультете Королевского университета в Белфасте, оттуда сбежал в Дублин, в театр «Гейт». Ирландию он ненавидит так, как может ее ненавидеть только ирландец. С религией он в ранней молодости распорстился ради марксизма, потом распорстился и с марксизмом. Впервые я видел его на сцене в «Удалом молодце»¹² (в те далекие дни он был худ и строен) и сразу отдал должное его таланту. Теперь, когда мы уже несколько лет не работаем вместе, он постепенно отцветает как очаровательный толстый телевизионный злодей. Мое мнение о его карьере ему известно, но мы остались друзьями, несмотря даже на то, что я украл у него жену. Он женился вторично, столь же несчастливо, на бывшей актрисе Памеле Хаккет, у которой имеется маленькая дочка от ее предыдущего ужасающего брака с Рыжиком Годвином. (Где-то он теперь?) И зачем только люди вступают в брак?

Да, без разговора о Розине не обойтись, но, может быть, мне даже будет полезно все это записать. Всего-то, положим, не напишешь, сколько бы ни извел бумаги. Розина – явление внушительное. Когда мы встретились, она уже была женой Перри. Они познакомились в Америке уже после того, как я обнаружил его в театре «Гейт». Я был еще сравнительно молод, хотя успел приобрести некоторую известность как драматург и режиссер. Тут, очевидно, прошло еще сколько-то времени (жаль, жаль, что я не вел дневника), потому что преследовать Розину я начал после того, как опять провел какой-то период с Клемент. Сколько же сил я потратил в жизни на то, чтобы избавляться от женщин! Рита Гиббонс тоже причастна к этой истории, так что, пожалуй, это было еще позднее. Клемент терпела Риту, Лиззи и Жанну. Розину же люто ненавидела. Разумеется, я лгал Клемент (а она мне), но всегда находились желающие держать ее в курсе дела.

Розина – это, конечно, Розина Вэмборо, самая, вероятно, известная фигура в этой книге, не считая меня. Ее настоящая фамилия, которую она скрывает, – Джонс (или Уильямс, или Дэвис, или Риз), она из Уэльса, внучка канадской француженки. Я никогда не был «влюблен» в Розину. Это слово я берегу для той единственной женщины, которую любил безоглядно (не для милой Клемент, конечно). Но что я сходил по Розине с ума – это бесспорно. (К тому же когда прекрасная и остроумная женщина пылает к тебе страстью, поневоле чувствуешь, что ты пропал.) Была ли она в меня влюблена – не уверен. Неистовая жажда обладания – вот что владело и ею, и мной во время нашей связи. Был момент, когда ей хотелось стать моей женой, у меня же никогда и в мыслях не было на ней жениться. Я просто желал ее, а чтобы удовлетворить это желание, требовалось раз и навсегда увести ее от мужа. Клемент до известного возраста была, вероятно, самой красивой женщиной, какую я знал. Но Розина – самая стильная, самая роскошная и неотразимо искусственная. В ее обаянии было что-то наигранное, хрупкое, до предела женственное, так и подмывало стиснуть ее, смять, разда-

¹² «Удалой молодец – гордость Запада» – пьеса ирландского драматурга Дж. М. Синга (1907).

вить. Она слегка косит на один глаз, что придает ее взгляду особую пристальность. Глаза у нее сверкают, словно из них в самом деле сыплются искры. Она вся заряжена электричеством. И я не встречал женщины, которая умела бы так быстро бегать на высоченных каблуках.

Она была (и сейчас осталась) хорошей актрисой и очень неглупой женщиной. (Эти свойства не всегда сочетаются.) Красота ее – смесь кельтской и галльской: синие глаза, жесткие темные волосы и большой влажный чувственный рот. Господи, до чего разные бывают поцелуи! Поцелуи Лиззи были сухие и целомудренные, но льнущие. Розина целовала, как тигрица. В Розине было вызывающее обаяние той зловредной девицы из сказки, на которой принц не женится, хотя и сама она, и ее реплики интереснее, чем у той девицы, которой принц достается. Она была хорошей комической актрисой, блистала в дешевых комедиях Реставрации (они меня не привлекали). Она создала запоминающийся образ Гедды Габлер и по-своему трогательный – Натальи Петровны из «Месяца в деревне». К сожалению, Онор Клейн¹³ у нее не получилась. Когда я с ней работал, я пробовал давать ей роли не ее профиля; с другими актерами у меня это не раз выходило удачно. Она была на удивление хороша в роли президентши в инсценировке «Опасных связей», которую сделал Сидни. Играть леди Макбет я ей не разрешал, а когда много позже Исаия Моммсен пошел на такой риск, результат был плачевный. Когда я ее бросил, она одно время металась между идиотскими фильмами и телевидением. Я был доволен. Бросив ее, я не желал больше видеть ее имя на афишах Шафтсбери-авеню и не желал знать, какой режиссер с ней работает. *La jalousie naît avec l'amour, mais ne meurt pas toujours avec lui*¹⁴.

Промежуток между утолением жажды и адом был недолгий, но, что и говорить, чудесный. Розина – из тех женщин, которые считают, что «хороший скандальчик очищает атмосферу». Я, со своей стороны, убедился, что хороший скандальчик не только не очищает атмосферу, но может сделать людей врагами на всю жизнь. Скандалы в театре бывают ужасны, я их всегда избегал. За это Розина называла меня трусом. Она обожала скандалы, какие угодно, ей и любовь представлялась цепью скандалов. Я начал уставать. Хочу надеяться, что я, если бывало нужно, всегда умел навести золотой мост для отступления. У Розины, когда она убедилась, что я остываю, не было наготове такой спасительной конструкции. Она цеплялась все крепче, визжала все громче. Она всегда была патологически ревнива, еще хуже, чем я. Всю мою жизнь ревность шла со мной бок о бок, я видел ее проявления, муки, ею вызванные. Сейчас вспоминается нечто совсем иного порядка, но не менее страшное: как молчала моя мать после визитов тети Эстеллы.

К концу мы оба были немного помешанные. Помню, мой кузен Джеймс цитировал слова какого-то философа о том, что «предпочесть гибель мира царاپине на собственном пальце вовсе не противоречит разуму». Мы с Розиной дошли до такой стадии (правда, с разумом она имела мало общего), когда безусловно предпочли бы гибель мира. Помню, однажды Розина в приступе ярости скатилась с лестницы. Несколько раз я был готов к тому, что она выбросится из окна, и смутно надеялся на это. Я пришел к выводу, а может быть, и всегда чувствовал (опять-таки говоря словами какого-то француза): *elle n'a qu'une faute, elle est insupportable*¹⁵. Я до сих пор иногда просыпаюсь среди ночи с мыслью: «Какое счастье, что эта женщина ушла из моей жизни!» К Перегрину она тогда, конечно, не вернулась.

Перри своим поведением заслужил мою глубокую благодарность, даже восхищение. Циники уверяли, что он был рад сбыть Розину с рук, но я-то знаю, что это не так, он стра-

¹³ Онор Клейн – героиня романа Айрис Мердок «Отсеченная голова», который автор в сотрудничестве с Дж. Пристли позднее переделала в пьесу.

¹⁴ Ревность рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с ней умирает (фр.).

¹⁵ У нее всего один недостаток: она невыносима (фр.).

дал. Не сомневаюсь, что с Розиной у них шла непрерывная война, но то же можно сказать о многих, не обязательно несчастливых женатых парах. Думаю, что он любил ее, хотя, вероятно, как и я, со временем почувствовал, что она невыносима. И я вполне допускаю, что, когда проблема разрешилась помимо его воли, он ощутил облегчение. Позже он усиленно демонстрировал мужскую солидарность. Он по-прежнему очень ко мне привязан, и я это ценю. Одним из следствий его поистине удивительного великодушия и доброты является то, что, хотя объективно я понимал, что поступил дурно, вины я почти не чувствовал. Потому что Перри ни разу меня не упрекнул. А вот перед моим шофером Фредди Аркрайтом я всегда чувствовал себя виноватым, потому что однажды он на меня наорал, а не потому, что я вызвал его гнев, заставив три часа ждать голодным, пока сам обжирался в отеле «Коннот». Чувство вины часто порождается не самим проступком, а нареканиями за него.

Бродил по своим скалам, рвал цветы. Получился прелестный букет из валерианы, армерии и горицвета. У горицвета очень сильный сладкий запах. Все собираю камни, никак не могу остановиться. В корытце уже не хватает места, хотя самые красивые я пустил на бордюр вокруг лужайки. Выглядит он как-то несерьезно, еще не знаю, понравится ли он мне, когда будет закончен. Смотрятся камни хорошо, но боюсь, как бы не обесцветились с нижней стороны, где их касается земля.

Нынче утром купался с каменистого пляжа под дождем. Пляж примерно в миле от дома, в сторону деревни, так что я захватил трусы, однако не надевал их, потому что никого не было. От дождя море утихло, стало гладким, почти маслянистым. Вылезать было совсем нетрудно. Набрал еще камней. По дороге домой посидел голым на Минновом мосту, глядя, как глянцеви́тая вода влетает в глубокую яму. Даже в такой тихий день она там взметывается и спадает, точно прибой.

Вчера вечером было облачно, и я не мог проверить свою теорию, что призрачное «лицо», которое я видел, было отражением луны. Но я теперь уверен, что то была зрительная галлюцинация, и никаких больше объяснений не требуется. На вечер я расположился в красной комнате и затопил камин. Он опять дымил, – наверно, ветер переменялся. Спасая паука, который бежал по тлеющему полешку, я вспомнил отца. До приезда сюда я несколько лет не имел комнаты с камином. Клемент всегда любила камин. Удивительный это процесс – горение. Как досконально и вроде бы деловито огонь все преобразует, он такой чистый, чистый, как смерть. (Предстоит ли мне кремация? Кто будет этим заниматься? Не хочу думать о смерти.) До сих пор я держал дрова в кладовой, но там мало места и очень уж сырой пол. Можно бы отвести под дрова нижнюю внутреннюю комнату. Плавник такой красивый, отполирован морем, высветлен до бледно-серого цвета, его и жечь-то жалко. Я отобрал несколько кусков с особенно интересным рисунком. Может быть, составлю коллекцию плавниковой «скульптуры».

Скоро стемнеет, я сижу у окна в гостиной и смотрю, как дождь упорно изливается в море. Есть некая грозная простота в этом сером пейзаже. Темная линия горизонта, а выше и ниже море и небо почти одного цвета – приглушенного, чуть светящегося серого оттенка, затихшие, словно в ожидании чего-то – чтобы вспыхнули молнии или чудовища поднялись из воды. Благодарение богу, больше галлюцинаций у меня не было, и тот факт, что я так быстро забыл свое видение, лишний раз убеждает меня, что это и правда было замедленным действием наркотика, столь опрометчиво мною испробованного. Да и «видел» ли я в самом деле что-нибудь, требующее хотя бы такого объяснения? Я внимательно оглядываю прибитое дождем море, но никакие гигантские, свитые кольцами шеи из него не вырастают. (Тюленей тоже нет.) Как ни странно, я только недавно задумался над словами того мужлана в «Черном льве» насчет червей. Ведь в старину червем называли змея, дракона. А впрочем,

не слишком ли много фантастики – драконы, полтергейсты, лица в окошках! И какое беспокойное чувство вызывает дождь.

Перечитал свои этюды о Джеймсе и Перегрине, они производят впечатление. Конечно, это лишь наброски, нужно выписать их подробнее, чтобы придать им достоверности и «правды». Мне только сейчас пришло в голову, что в этих «мемуарах» я мог бы написать о своей жизни кучу небылиц, и все приняли бы их за чистую монету. Таково человеческое легкоеверие, сила печатного слова и любого известного имени, особенно если оно связано со «зрелищным бизнесом». Даже когда читатели говорят, что не очень-то верят автору, они лукавят. Им ужасно хочется верить, и они верят, потому что верить легче, чем не верить, и еще потому, что все написанное на бумаге можно назвать «в каком-то смысле правдой». Надеюсь, эти попутные соображения никого не заставят усомниться в истинности моей истории! Когда я дойду до описания моей жизни с Клемент Мэйкин, даже легкоеверам придется туго, но авось они окажутся на высоте!

С тех пор как я начал писать эту «книгу», или мемуары, или автобиографию, у меня такое чувство, будто я брожу по темной пещере, куда свет проникает через разные отверстия или колодцы – может быть, из внешнего мира. (Картина словно бы мрачная, но для меня в ней ничего мрачного нет.) Среди этих пятен света есть одно, самое большое, к которому я полусознательно держу путь. Возможно, это большое «окно», за которым сияет день, а возможно – щель, сквозь которую вырывается пламя из центра земли. Я еще сомневаюсь, что вернее и следует ли мне подойти ближе, чтобы удостовериться. Образ этот возник до того внезапно, не знаю, как его осмыслить.

Когда я решил писать о себе, передо мной, естественно, встал вопрос: значит, нужно писать о Хартли? Ну конечно, думал я, писать о Хартли нужно, раз это самое важное в моей жизни. Но как? Какой стиль, достойный этой священной темы, могу я выбрать или выработать и не окажется ли нестерпимо мучительной всякая попытка вновь пережить те события? Или это будет попросту святотатство? Или вдруг я возьму неправильный тон и вместо чуда получится нелепый гротеск? Лучше было бы, пожалуй, рассказать свою жизнь, не упоминая о Хартли, хотя такое умолчание было бы равносильно грубой лжи. Возможно ли, создавая автопортрет, умолчать о чем-то таком, что изменило всю твою сущность и о чем думал каждый божий день? «Каждый день» – преувеличение, но не такое уж большое. Мне не требуется нарочно вспоминать Хартли, она здесь, передо мной. Она – мое начало и мой конец, альфа и омега.

Я предпочел оставить этот вопрос открытым – слишком уж хлопотно было искать ответ. Решил просто писать, а там видно будет, способен ли я как-то подойти к этой огромной теме или, может быть, уже подошел к ней. И так же, как в свое время я неожиданно для себя написал: «Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире», – так вот теперь, бродя по моей пещере, я приблизился к великому источнику света и готов говорить о своей первой любви. Но что я могу сказать? Где найти нужные слова? Моя первая любовь, моя единственная любовь. По сравнению с ней все, даже Клемент, были бледными тенями. Для меня это так непреложно, что мне трудно себе представить, что у других это может быть иначе. *On n'aime qu'une fois, la première*¹⁶.

Звали ее Мэри Хартли Смит. Как быстро, как охотно я это написал. А сердце-то застучало. О господи. Мэри Хартли Смит.

Итак, заглавие для рассказа есть. А написать рассказ я не могу. Напишу кое-какие заметки к рассказу, тем, возможно, дело и кончится. Да и откуда взяться рассказу? Фабулы-то

¹⁶ Любят всего один раз, самый первый (фр.).

нет, одни чувства – чувства ребенка, юноши, молодого мужчины, туманные и святые, самое сильное, что испытано в жизни. Я почти не помню времени, когда я не знал Хартли. В школе у нас учились только мальчики, но женская школа была рядом, и мы все время общались с девочками. В то время Мэри было чуть ли не самое частое имя, поэтому ее все звали Хартли, так это имя за ней и осталось. Мы с ней дружили, но поначалу, сколько помнится, весело, по-детски, без глубоких эмоций. Эмоции начались лет в двенадцать. Они нас поразили, озадачили. Они трепали нас, как терьер треплет крысу. Мы были... нет, стертым словом «влюблены» это не выразишь. Мы любили друг друга, жили друг в друге и друг другом. Мы были друг другом. Почему то была такая чистая, беспримесная боль?

Странно, что я написал (и не изменю) слово «боль», ведь это была, конечно же, чистая радость. Может быть, дело в том, что чувство, как его ни назови, было столь всеобъемлюще и чисто. (Говорят, если завязать человеку глаза, он не отличит сильного ожога от сильного холода.) Или, может быть, в этом возрасте все эмоции ощущаются как боль, потому что не освещены мыслью. Все обращается в страх и ужас, и чем чудеснее, чем радостнее, тем страх и ужас сильнее. Но повторяю: мысль, рассуждения отсутствовали. Я не спрашивал себя, всегда ли Хартли будет меня любить, я просто знал, что она моя навеки. Но когда мы закрывали глаза, в них были слезы радости, а в сердцах – космический ужас.

Разумеется, мы держали все это в тайне. Одноклассники привыкли к нашей веселой дружбе. А потом мы затаились, притворялись равнодушными, придумали тайные места для встреч. Все это было подсказано инстинктом, не обсуждалось и не решалось. Мы должны были прятать свое сокровище, чтобы его как-нибудь не повредили, не высмеяли, не осквернили. Мои родители, конечно, знали, кто такая Хартли, но у нас она почти не бывала, они так не любили, чтобы кто-нибудь приходил к нам в гости, да и я этого не предлагал. О моем особом интересе к ней они не подозревали, считая, что в моем возрасте никаких особых интересов быть не может. Ее родители, знавшие о моем существовании, тоже нами не интересовались, впрочем, я им, кажется, не нравился. Был у нее старший брат, тот презирал нас обоих. Наш мир оставался замкнутым и тайным. Родителей мы успеем оповестить позже, когда поженимся, а поженимся мы непременно, когда нам исполнится восемнадцать лет. (Мы были ровесниками.) Мы целовались, но дальше этого не заходили. Не забудьте, дело было давно.

Попробую описать Хартли. О моя милая, как ясно я тебя вижу. Именно вижу, а не воображаю. Свет в пещере – не огонь, а свет дня. Может, это единственный свет в моей жизни, тот, что озаряет истину. Немудрено, что я боялся потерять его и навсегда остаться во мраке. Тут слились все слепые детские страхи, так рано внушенные мне матерью: не поцелует, унесет свечу. Хартли, моя Хартли. Да, я вижу ее как сейчас, прыжки в высоту, веревку поднимают все выше, а она все перелетает через нее, и зрители каждый раз вздыхают с сочувственным облегчением, а я изнемогаю от тайной гордости. Она была чемпионкой по прыжкам в своей школе, во многих школах, и по бегу тоже. Хартли всегда занимала первое место, а я кричал «ура» вместе со всеми и смеялся от сокровенной радости. Хартли. Все затаили дыхание, вот она присела на параллельных брусьях, блестят ее голые ляжки. Учитель гимнастики поговаривает об Олимпийских играх.

«О Дух Святой, на нас сойди, огнем небесным освети...» Мы вместе подтвердились, наша любовь приняла благословение свыше. Помню, как Хартли пела в церкви, подняв свое ясное, невинное, прелестное лицо к свету, к Богу, к той радости, которая, она знала, принадлежит ей по праву. Мы много говорили о религии (как и обо всем на свете) и чувствовали, что мы – избранные и любовь охраняет нас. Мы ощущали свою невинность и думали, что всегда быть хорошими не составит труда. Я помню восхитительный смех Хартли, но не помню, чтобы мы поддразнивали друг друга или много шутили. Наше счастье было торжественно,

свято, и мы сторонились грубоватой болтовни одноклассников. Вопросы пола, мне кажется, не вызывали у нас любопытства. Мы были одно, и только это имело значение. Мы жили в раю. Мы уносились на велосипедах и лежали в лугах среди лютиков, у железнодорожных мостов, на берегу каналов, на пустырях, ожидающих застройки. Наша сельская местность уже превращалась в пригород, но для нас она была чудесна и наполнена смыслом, как Эдем. Хартли не была особенно умной, начитанной девочкой, она обладала мудростью невинных, и мы общались как ангелы. Ей было легко во времени и в пространстве.

Вижу, как она мне улыбается. Она была красива, но особой, скрытой красотой. В школе она «хорошенькой» не числилась. Иногда лицо ее бывало тяжелым, почти суровым, а когда она плакала, то становилась похожа на младенца-поросенка в «Алисе». Она была очень бледная, находили, что у нее болезненный вид, а на самом деле она была крепкая и здоровая. Лицо у нее было круглое, белое, а в глазах – удивление и загадочность, как у юной дикарки. Глаза были темно-синие, какие-то даже фиолетовые. Зрачки часто расширялись, и тогда глаза казались почти черными. У нее были очень тонкие светлые волосы, длинная стрижка. Губы бледные и всегда холодные, и, когда я, закрыв глаза, так по-детски касался их губами, какая-то холодная сила пронзала меня, словно копье, – такое мог бы почувствовать паломник, когда он, опустившись на колени, целует священный всеисцеляющий камень. Ее тело не отзывалось на мои объятия, но дух ее льнул ко мне языками холодного огня. Ее прекрасные плечи, ее длинные ноги тоже были бледны и казались холодными. Я ни разу не видел ее совсем обнаженной. Она была стройная, очень стройная, длинноногая и чистая и очень сильная. Она меня никогда не тискала, но, случалось, так сжимала мои руки пониже плеч, что оставались синяки. Ее загадочные фиолетовые глаза не закрывались, когда я тянулся поцеловать ее. Они глядели с тем странным удивлением, которое и было страстью. Эти тихие, молчаливые, почти чопорные объятия были самыми страстными, какие я знал. И мы были целомудренны, мы уважали друг друга и боготворили друг друга целомудренно. И это была страсть, это была любовь такая чистая, какой не будет уже никогда, какая и, вообще-то, редко встречается. Эти воспоминания сияют во мне, как ни одно произведение искусства, ярче и драгоценнее, чем Шекспир или Пьеро делла Франческа. Глубоко внутри меня есть кто-то, не ведающий ни времени, ни перемен, и эта часть моего существа до сих пор пребывает с Хартли в том блаженном краю, где мы с ней были когда-то.

Теперь, написав это, что я могу добавить? Просто описывать Хартли я мог бы еще и еще, но очень уж это больно. Я потерял ее, жемчужину моего мира. И до сего дня для меня остается тайной, как это случилось: тайной души молодой девушки, ее отношения к жизни. Я боялся чего угодно – что она умрет или я сам умру, что нас постигнет кара за избыток счастья; но того, что произошло, я не боялся и не представлял себе, во всяком случае сознательно. Или все мои страхи сводились к этому, но осознать это я не решался? Любовь, доведенная до крайности, несет в себе ужас, а ужас, подобно иным молитвам, что предполагают всеведение Господне, не знает границ, вмещает все. Так что, возможно, я боялся и этого. Наверно, я кричал в глубине смятенного сердца: помилуй, не дай случиться и этому, хотя «это» казалось невыносимым.

Попробую изложить все просто, ведь оно и в самом деле очень просто. Когда подошло время, Хартли решила, что не хочет выходить за меня замуж. Почему именно – выяснить не удалось. Я был слишком раздавлен горем, чтобы отчетливо думать, толково расспрашивать. Она отвечала смущенно, уклончиво – то ли не хотела причинить мне боль, то ли сама была слишком несчастна, то ли колебалась, а я, глупец, этого не заметил. Некоторые ее слова врезались в память. Но обозначали ли они «причины»? Все, что она говорила, она тут же смывала слезами. Еще давно у нас было условлено, что мы поженимся в восемнадцать лет, как только станем взрослыми. Среди этих непонятных, уклончивых, все смывающих слез как страстно я убеждал ее, что подожду, не буду ее торопить. Если это просто девичьи страхи,

я не оскорблю ее, пусть остается как есть, лишь бы не отняла у нас наше драгоценное будущее, с которым мы так долго жили. Наш брак был ясной, определенной целью, я только боялся, что умру, не успев ее достигнуть. Имея перед собой эту ясную цель, я и уехал в Лондон, в театральное училище. Родителям мы все еще ничего не сказали. Может быть, в этом была моя ошибка? Я боялся осуждения матери, ее противодействия. Она могла сказать, что мы слишком молоды. Я не хотел до времени омрачать наше счастье семейными сценами, хотя мы столько раз говорили, что никакие сцены нам не страшны. Но если бы наши родители знали и дали согласие или если бы мы уже повоевали за свою любовь, самый факт, что наши планы на будущее известны, сделал бы их более обязывающими, более реальными. И конечно, это изменило бы атмосферу нашего маленького рая. Может, этой перемены я и боялся, может, я потерял Хартли, потому что был трусом? В чем, в чем была моя ошибка? Что случилось, когда я уехал в Лондон, как шли ее мысли? Ведь она согласилась, она поняла. Конечно, была разлука, но я писал каждый день. Я приезжал на воскресенья, она казалась прежней. А потом в один прекрасный день сказала...

Мы уехали на велосипедах к каналу, как часто ездили раньше. Велосипеды наши, как всегда, лежали в обнимку в высокой траве у прибрежной тропы. Мы пошли дальше пешком, глядя на все то знакомое и дорогое, что стало для нас своим. Кончалось лето. Было множество бабочек. При виде бабочек мне до сих пор вспоминаются те страшные минуты. Она заплакала. «Я больше так не могу, не могу. Я не могу выйти за тебя замуж». «Мы не дадим друг другу счастья». «Ты не останешься со мной, ты уйдешь, не будешь мне верен». «Нет, я тебя люблю, но не могу тебе верить, не понимаю». Оба мы обезумели от горя и в горе зывали друг к другу. В отчаянии, в смертельном ужасе я заклинал: «Будем хотя бы друзьями навеки, не можем мы покинуть друг друга, потерять друг друга, это невозможно, я умру». Она плакала и трясла головой. «Ты же знаешь, мы больше не можем быть друзьями». Вижу, как горят ее глаза, как дергаются мокрые от слез губы. Никогда я не мог понять, как она сумела проявить такую силу. Была ли она откровенна, или же ее слова скрывали другие слова, которые она не решалась произнести? Почему она передумала? Я спрашивал снова и снова, с чего она взяла, что я не буду ей верен, что мы не будем счастливы, почему вдруг утратила веру в будущее. «Я больше не могу, не могу». Может, кто-нибудь оговорил меня? Не может же она ревновать к моей жизни в Лондоне, где я только о ней и думаю. (Клемент еще была скрыта в грядущем.) Или она встретила кого-то другого? Нет, нет, нет, твердила она и принималась повторять свои непонятные доводы. Да, она была очень сильная. И она от меня ускользнула.

Мне нужно было возвращаться в Лондон. Через два дня я уже не верил в этот ужас. Я написал ей спокойное, властное, сочувственное письмо. Потом бросил все и примчался обратно. Мы снова свиделись, и повторилась та же сцена, потом еще раз. А потом она как в воду канула. Я пошел к ней домой. И родители ее, и брат встретили меня враждебно. Через неделю я пошел снова. Потом получил письмо от ее матери: Хартли, мол, не желает меня видеть и просит оставить их всех в покое. Я искал, расспрашивал, подстерегал. Как может человек в двадцатом веке просто исчезнуть? Почему нет места, где справиться, учреждения, куда написать? На все каникулы я превратился в сыщика. Из школьных товарищей никто не знал, где она. Я дал объявление в местной газете. Я побывал во всех местах, о которых она когда-либо упоминала, у всех людей, которые ее когда-либо знали. Я разослал десятки писем. Гораздо позже мне, конечно, стало ясно, что она могла ускользнуть только так – сбегав, исчезнув.

Через какое-то время ее родители уехали из наших мест, а потом я получил от ее матери коротенькое письмо без обратного адреса и с известием, что Хартли вышла замуж. Я не поверил. Ее родители – злая сила, они ненавидят меня, потому что Хартли меня любит. Я

продолжал искать. Продолжал ждать. Я чувствовал, что для ее бегства должна быть какая-то особая причина и что время устранит эту причину и все станет по-прежнему. Я вел себя так сумасбродно, что многие узнали о моей любви и я прямо-таки прославился как влюбленный безумец. А мне уже хотелось, чтобы о моей беде знали все – авось кто-нибудь да просветит меня. Так и случилось. Мистер Макдауэл написал мне, сказал, что это правда, Хартли замужем. Ему я поверил. Подробностей он не сообщал (может быть, опасался каких-нибудь эксцессов с моей стороны), а я не стал спрашивать. В его письме было сказано: «Ты просто смиришься с тем, что ты ей не нужен, что она любит другого. Тут любой мужчина отступится».

Конечно, в каком-то смысле я «выздоровел». Я работал. Я познакомился с Клемент Мэйкин и дал ей меня похитить. Я ей все рассказал чуть ли не в первый день знакомства. А родителям не сказал, они, по-моему, так и не узнали. Они были простые люди, подозрительность была не в их характере, и к тому же они ни с кем не общались. Клемент выходила меня, убаюкала мою ревность, одно время это была у нас любимая тема разговоров. Ей это нравилось, ей казалось, что она исцеляет меня, и я не разубеждал ее, но она ошибалась. Рана была слишком глубока, да еще загноилась от горькой, неистовой ревности. Эта страшная зараза вошла в мою жизнь, когда я прочел письмо мистера Макдауэла, и с тех пор не покидала меня. «Ты ей не нужен, она любит другого». Пока я искал ее, меня дразнила надежда. Я непрерывно прощал ее в сердце своем, и этот постоянно возобновляемый акт прощения утешал меня. Мне все казалось, что она должна знать, как я страдаю, что щупальца моих мыслей дотягиваются до нее. Но в этих моих мыслях она всегда была одна. Когда же я действительно понял, что она замужем, я не возненавидел ее, но демон ревности осквернил прошлое, и я уже ни в чем не находил покоя. Из всех сильных чувств ревность, вероятно, самое неуправляемое. Она отнимает разум, она лежит глубже мышления. Она всегда при тебе, как черное пятно в глазу, она обесцвечивает весь мир.

Хартли отказала мне по моральным причинам, вызвала в моей жизни неизлечимый метафизический перелом. Не потому ли я избрал для себя маску аморальности? Такие высокопарные рассуждения, конечно же, ерунда, я сам удивляюсь, как мог их записать. Какие «причины» были у Хартли? Этого я никогда не узнаю. Возможно, в мои отношения с Клементом вкралась дьявольская решимость покончить с невинностью, словно я говорил Хартли: «Ты мне не верила. Так вот, я тебе покажу, что ты была права!» Может, и все мои романы были злыми попытками показать Хартли, до какой степени она оказалась права. Но права она была только потому, что покинула меня. Когда у тебя отнимают любовь, сердце умирает. Оттого, что моя мать грозила разлюбить меня, я оказался беззащитен перед преступлением Хартли. Хартли сгубила мою невинность, Хартли и демон ревности. Из-за нее я стал неверным. Ей я был бы верен, с ней вся моя жизнь была бы иной, не такой пустой, не такой ничемной. Так неужели я считаю, что моя жизнь прожита впустую? Смешно. Неужели Хартли действительно сочла меня «суетным»? Если так, значит она была-таки сродни моей матери. Это она, отвергнув меня, сделала меня суетным, обрекла на моральную гибель. Казалось ли ей, что в театре я пропаду? Она никогда этого не говорила. Я потому и сбился с пути, что она меня отвергла. Был бы я ей верен? А как мог бы я быть ей не верен, если б она жила со мной, шила на меня, готовила мне обед? Мы слились бы воедино, и святость брака стала бы нашим оплотом и убежищем. Она была частью, залогом той чистой, без трещинки, веры в высшее добро, которой я навсегда лишился.

Гораздо позже прошлое словно бы вновь обрело свою прелесть. Это бывает. Мне опять стали видны вдали, подобно выцветшим, но все еще излучающим свет изображения Адама и Евы на старинной фреске, два невинных существа, омытых чистым сиянием. Она стала моей Беатриче. Время шло, и мне уже казалось, что в ней сосредоточено все хорошее, что было в моей жизни. Все хорошее – не был ли то совсем особенный сплав невинности и целомудренной страсти? Вот я уже написал о ней, такой, какой она была тогда, и меня глубоко

радует, что я оказался на это способен. Когда что-то из прошлого вырывается наружу живым и цельным, поневоле мерещится, что от него веет пламенем ада. Конечно, вся моя жизнь была соткана из воспоминаний о Хартли. Но раньше, мне кажется, я не мог бы это записать и не мог бы признать, что, наперекор нам обоим, эта любовь во мне еще жива. Я, конечно, больше не видел Хартли. В последующие годы я благодарил бога за то, что сам демон ревности запретил мне разузнавать о ней подробно, это было бы слишком мучительно, а так я ведь даже не узнал ее новой фамилии. Я не хотел знать, где она прозябает, не хотел, чтобы мои мысли, ходя по кругу, натыкались на имена людей, названия мест. Но мне нравилось думать, что живется ей скучно. А потом, когда мое имя получило известность и стало часто появляться в газетах, мне нравилось воображать, что она испытывает тайные муки раскаяния и сожалений и терзается так же, как терзался я. Заодно с моим счастьем она и свое убила. Я бы сделал ее королевой в моем мире.

После тех страшных дней я всегда боялся, как бы в моей жизни не возник какой-нибудь непобедимо могущественный источник боли, и заранее закалял себя, чтобы не слишком сильно страдать. Возможно, отчасти поэтому я и не женился. Что за странную азартную игру являет собой наше существование! Мы решаем поступить не так, а иначе, и вот уже обе дороги разошлись и могут привести нас либо в ад, либо в рай. Только задним числом понимаешь, сколь велика и сколь ужасна разница. А чем был обусловлен наш выбор? Это, наверно, уже забыто. Знал ли тогда, что выбираешь? Конечно же нет. В жизни каждого столько разных «если бы...». Во время конфирмации я обещал себе всегда быть хорошим, и до сих пор мне смутно представляется, что это могло бы быть. Образ Хартли в моей душе перелился из пронзительной боли в печаль, но до конца не угас. И в каком-то смысле я продолжал ее искать, только поиски эти были теперь иные, без участия воли, словно во сне. Словно я, упорно помня о ней, сам вдыхал в нее жизнь – как она двигалась, как ходила, словно физический абрис ее существа всегда мне сопутствовал. И поэтому, особенно когда боль уже стала утихать, я снова и снова «видел» ее, видел, как призрачные ее контуры накладываются на других женщин; ее плечи, ее волосы, походка, этот удивленный загадочный взгляд. Я и до сих пор вижу иногда эти призраки, один явился мне совсем недавно, в облике старой женщины в здешней деревне, – голова, увиденная мельком, как маска, надетая на другого человека. Раза два в Лондоне, еще давно, я даже пускался следом за этими призраками – не потому, что принимал их за Хартли, а просто чтобы себя помучить, наказать себя за то, что все еще помню.

Не так давно мне пришло в голову, что она, может быть, умерла. Странная бледность, расширенные зрачки, – может, то были предвестники болезни, какой-то затаившейся до времени убийцы? Может, она умерла давно, когда я был еще молод? Я, пожалуй, был бы рад узнать, что она умерла. Что тогда случилось бы с моей любовью? Она бы тоже тихо скончалась? Или претворилась бы в нечто отвлеченное и невинное? Отпустила бы меня наконец та ревность, что горит и на этих страницах, развеялся бы запах адского пламени?

И сейчас еще я весь дрожу, когда пишу это. Память – слишком слабое слово для этого пугающего воскрешения. О Хартли, как абсолютна, как неподвластна времени любовь! Моя любовь к тебе не хочет знать, что я стар, а ты, может быть, умерла.

Сегодня в одиннадцать часов утра съел три апельсина. Апельсины следует есть в одиночестве, как лучшее угощение, когда проголодаешься. Ни в завтрак, ни в обед их включать нельзя, слишком много с ними возни. Замечу к слову, что я вообще не поклонник сытных утренних завтраков, хотя в теории отдаю им должное. Утром я только пью чудесный индийский чай. Кофе и китайский чай по утрам невыносимы, а кофе для меня невыносим и в любое время дня, разве что он особенно высокого качества и я не сам его заваривал. По моему, напиток это неудобный и зря его так превозносят, но я допускаю, что это дело вкуса

(тогда как другие взгляды, которых я придерживаюсь относительно еды, близки к абсолютным истинам). С утра я обычно вообще не ем, поскольку даже один гренок с маслом способен вызвать нежелательное чувство голода, а наестся с утра – значит плохо начать день. А вот перекусить в одиннадцать часов я не прочь, и тут возможно большое разнообразие. Бывают, как уже сказано, минуты для апельсинов. Бывают и минуты для остуженного портвейна и кекса с изюмом.

Апельсиновое пиршество не испортило мне аппетит для второго завтрака – рыбные шарики с горячим острым индийским соусом и салатом из тертой моркови, редиски, кресса и зеленой фасоли. (Одно время я добавлял тертую морковь в любое блюдо, но это увлечение прошло.) На второе – пирог с вишнями и мороженое. Мое отношение к мороженому определилось лишь тогда, когда я понял, что есть его надо с пирогом или с печеньем, а ни в коем случае не с одними фруктами. Само по себе оно, конечно, бессмысленно, даже если содержит орехи или еще какую-нибудь ерунду. Причем под мороженым я понимаю сливочное с ванилью. Для пуриста мороженое с примесями так же неприемлемо, как, скажем, фруктовый йогурт. И еще я никогда не мог понять, чего ради придумано так называемое водяное мороженое, которое, чуть возьмешь его в рот, нахально превращается из жесткой ледышки в поток столь же безвкусной воды. Мне очень обидно, что за неимением холодильника часть еды приходится выбрасывать. У моей матери холодильника не было, но ни крошки еды не пропадало. Все, что не съедалось сразу, шло в ход на следующий день. Как мы любили ее хлебные пудинги!

Прочел все, что написал о Хартли, и взволнован уже оттого, что смог это написать. Это пока лишь призрачная дань; может быть, попробую кое-что улучшить, если вообще буду в силах вернуться к этой теме. Странная вещь память. С тех пор как я начал писать о Хартли, воскресло еще столько связанных с нею картин, запыленных в темных глубинах сознания. Ее длинные ноги на мчащемся велосипеде, ее запыленные босые ступни в сандалиях. Как она, сначала присев, легким движением выпрямлялась во весь рост на параллельных брусьях во время состязаний по гимнастике. Как я чувствовал сквозь рубашку ее сильные пальцы, сжимавшие мне руки пониже плеч. Мы не предавались нескромным ласкам. Наша пылкая молодость подчинялась рыцарству чистой страсти. Мы были готовы ждать. Увы, увы. Никогда уже больше со мной не бывало, чтобы одно человеческое существо так чисто и нежно, так пронзительно, так предельно и свято стремилось слиться с другим душой и телом. Но, перечитывая мою историю, я опять ощущаю ее грозную тайну. Когда Хартли начала от меня отдаляться? Обманывала она меня или нет? Почему, почему так случилось?

Вторую половину дня я посвятил уборке дома. Снес два ведра с мусором к концу дамбы – и с неудовольствием обнаружил, что мусорщики в прошлый раз кое-что просыпали с дамбы вниз, на скалы. Пришлось спуститься туда и подобрать. В кухне я протер стены и вымыл пол из огромных черных плит. Такие не посрамили бы и собора. Посыльный доставил баллоны с газом (что меня удивило, хотя я сам об этом просил, когда заходил в «Магазин для рыбаков»). Не забыть справиться, нельзя ли через них достать газовый холодильник. Остатки мороженого растаяли. В кладовой все еще сыро. Я затопил камин в красной комнате и оставил все двери внизу открытыми. Целую кучу дров перетаскал в нижнюю внутреннюю комнату, авось они там высохнут. Привыкаю к тому, что теперь во всем доме пахнет древесным дымком.

Дождь перестал, светит солнце, но небо над морем почти сплошь свинцово-серое. На этом темном фоне скалы под солнцем горят золотом. Что за рай! Никогда мне не надоест это море, это небо. Если б суметь донести по скалам до башни стол и стул, я мог бы сидеть там и писать с видом на Воронову бухту. Надо выйти и обследовать мои озерки в скалах, пока не померкло освещение. Кажется, я стал более наблюдательным – недавно заметил колонию

очаровательных крошечных крабов, ни дать ни взять гроздь мелкого прозрачного желтого винограда, и еще – малюсеньких, свирепого вида рыбешек, очень похожих на вымерших морских гигантов в миниатюре.

Мысль о Хартли уже не вызывает у меня такого волнения, ей будто дано было раствориться в свежем, здоровом здешнем воздухе. Вот уж поистине критерий для оценки моей новой среды. (Они говорили: «Ты с ума сойдешь от одиночества и скуки».) Нет, инстинкт не обманул меня.

Хотелось бы мне рассказать все это кому-нибудь, может быть Лиззи. Вместе с этой первой любовью я упрятал в тайник свою невинность и бережную нежность, которые впоследствии нарочно отрицал и вытравливал, и вот теперь, только теперь, они словно бы вновь пробудились и ожили. Неужели призрак женщины способен отомкнуть двери сердца?

История 1

Разглядывать крабов я так и не пошел. Мне втемяшилось в голову сейчас же отнести к башне стол и стул, и я пустился в путь по скалам, с тем складным столиком, который до этого перенес из внутренней комнаты в гостиную. Скоро он уже стал казаться мне непомерно тяжелым, и я с досадой обнаружил, что не в силах одолевать гладкие, крутые подъемы и спуски, держа столик под мышкой. Кончилось тем, что я уронил его в расщелину. Надо поискать к башне какой-нибудь другой путь, полегче.

С пустыми руками я полез дальше и сел на мокрый выступ скалы, нависшей над Вороновой бухтой. Солнце еще светило, и небо над морем было все такое же серое. Гладкое беспенное море вздымалось и опадало у подножия скал в тихом, зовущем ритме. Тени удлинились, и большие круглые камни, окаймляющие бухту, с одного бока блестели, а с другого стали совсем темными. В ясном предвечернем свете длинный изящный фасад отеля «Ворон» был виден отчетливо, во всех подробностях.

Не успел я немного успокоиться после досадного случая со столиком, как заметил, что из-за поворота шоссе, со стороны бухты, появился какой-то человек и двинулся по направлению к Шрафф-Энду. На нем был элегантный костюм и мягкая шляпа, и выглядел он на фоне яркого ландшафта как непонятная фигура на картине сюрреалиста. Я вгляделся в эту диковину. Пешеходов на нашем шоссе попадает еще меньше, чем машин. Потом мне почудилось что-то знакомое. Потом я узнал его. Гилберт Опиан.

Я ощутил легкий, но неприятный шок, и первым моим побуждением было спрятаться, я даже вдвинулся в сырую, пропахшую солью внутренность башни со светлым кругом неба над головой. Однако я не мог всерьез воспринять Гилберта как угрозу, да еще сообразил, что он, конечно же, привез Лиззи; поэтому, выскочив из башни, я стал поспешно карабкаться по скалам к шоссе. Когда я ступил на гудрон, Гилберт, заметив меня, уже повернул обратно. Мы сошлись, он улыбался.

Гилберт был в легком черном костюме с полосатой рубашкой и цветастым галстуком. Заметив меня, он снял шляпу. Я не видел его три или четыре года, он сильно изменился. Страшные перемены, которые возраст вносит в человеческое лицо, порой подготавливаются исподволь, подспудно, а потом разом становятся видны. На пороге среднего возраста Гилберт выглядел румяным юношей. Теперь он был весь в морщинах, сухой и насмешливый, с легким налетом скепсиса, какой неглупые пожилые мужчины часто напускают на себя инстинктивно в порядке обороны перед окончательной капитуляцией. Когда я видел его в последний раз, в нем еще было много непосредственного ребяческого самодовольства. Теперь же лицо его выражало тревожную настороженность, прикинувшуюся светским безразличием, словно он опасливо примерял свои новые морщины, как маску. Он чуть отяжелел, но ему еще удавалось казаться красивым мужчиной, и его белые вьющиеся волосы еще выглядели эффектно, еще не постарели.

Я был в джинсах и вылезшей из них белой рубашке. При виде Гилбертова галстука, его булавки, его легкого грима (или это мне показалось?) я ощутил к нему мгновенную презрительную жалость и одновременно – какой сам я мужественный и крепкий. Гилберт это явно уловил – и жалость, и мою мужественность. Его влажные голубые, чуть розоватые глаза тревожно замерцали меж сухих морщинистых век.

– Дорогой мой, выглядишь ты на пять с плюсом, загорел, помолодел, о господи, такой цвет лица...

Гилберт всегда говорил звучным, сдобным голосом, словно обращаясь к задним рядам партера.

– Ты привез Лиззи?

- Нет.
- Письмо, поручение?
- Не совсем.
- Тогда что же?
- Этот забавный дом твой?
- Да.
- Я бы выпил, хозяин.
- Ты зачем явился?
- Дорогой мой, я насчет Лиззи...
- Не сомневаюсь. Ну а дальше?

– Насчет Лиззи и меня. Прошу тебя, Чарльз, отнесись к этому серьезно и не смотри так, а то я заплачу! Между нами действительно что-то произошло, то есть не это, а вроде как настоящая любовь, о господи, в этом ужасающем мире не часто бывает, чтобы так божественно повезло, тут, конечно, мешает секс, если б только люди искали друг друга как души...

– Души?

– В том смысле, чтобы видеть людей, и любить их спокойно и нежно, и стремиться к тому, чтобы хорошо было вместе, в общем, это, наверно, тоже секс, но секс, так сказать, космический, не тот, что диктуется органами...

– Органами?

– Мы с Лиззи связаны по-настоящему, мы близки, мы как брат с сестрой, мы перестали скитаться, мы дома. Пока не было Лиззи, я жил от выпивки до выпивки – джин, молоко, опять джин, опять молоко, ну, ты знаешь, как оно шло, я думал, так и будет идти до конца. А теперь все изменилось, даже прошлое изменилось, мы с ней обговорили всю свою жизнь, всю до капли, вроде как заново пережили прошлое и испутили его...

– Гадость какая!

– Мы говорили об этом благоговейно, особенно о тебе.

– Вы обсуждали меня?

– Ну а как же иначе, Чарльз, ты ведь не дух незримый... ой, прошу тебя, не сердись, ты же знаешь, как я всегда к тебе относился, как мы оба к тебе относимся...

– И хотите, чтобы я стал членом вашей семьи.

– Вот-вот! Пожалуйста, не говори так сухо, язвительно, не обращай это в шутку, прошу тебя, постарайся понять. Понимаешь, я теперь верю в чудеса, милый Чарльз, в чудеса любви. Любовь – это чудо, я имею в виду настоящую любовь. Она выше тех границ и барьеров, о которые мы всегда спотыкались. Зачем уточнять, зачем мучиться, когда можно относиться друг к другу просто, с любовью, оставаясь свободными? Мы ведь уже не молоды...

– С мальчиками покончено? Никаких больше опасных приключений?

Гилберт, чей взгляд был до сих пор устремлен на открытый ворот моей рубашки, посмотрел мне в лицо. Он закатывал глаза, вращал глазами – может быть, следствие пьянства, и была у него манера морщить нос и опускать углы рта, скопированная с Уилфрида Даннинга. Он изобразил на лице какую-то болезненно-смешную гримасу. До чего же натренированы лица этих старых актеров!

– Пойми, о царь теней, Лиззи дала мне счастье. Я стал другим человеком, будто родился заново. Конечно, я очистился не от всех грехов, я вот и сейчас не отказался бы выпить. Но ты пойми, Лиззи от меня не отступится, ты не сможешь разорвать узы, которыми мы с ней связаны. Если ты думаешь, что это пошло или смешно, значит ты ничего не понял. Ты только можешь сделать нас очень несчастными, если будешь жесток и резок. Ну да, мы тебя боимся, да, как всегда боялись. Или ты можешь сделать нас очень счастливыми, и себя тоже, если просто будешь мягким и добрым, и будешь нас любить, и позволишь нам любить тебя. Ну

почему бы и нет? А если заставишь нас страдать, тебе и самому будет плохо. Почему не сделать так, чтобы всем было хорошо? Чарльз, дорогой мой, пойми, ведь это выбор между добром и злом!

Тирана Гилберта – притом, что я еще сократил ее и поубавил слезливости, – была, конечно, сплошная чушь. По-настоящему меня обозлило то, что Гилберт и Лиззи анализируют друг друга и обсуждают (одному богу ведомо, в каких деталях) свои отношения со мной. Не мешает добавить, что Гилберта как актера (другие его ипостаси не в счет) я создал своими руками. Он всем был мне обязан. И теперь эта марионетка обрела голос, да еще грозит мне моральными санкциями! Однако я рассмеялся:

– Гилберт, спустишься с облаков. Ты очень мило описал ваши трогательные отношения с Лиззи, но кто тебе поверит? Ты говоришь, что изменился, а на мой вопрос о мальчиках не ответил. В ваш семейный союз я ни вот столечко не верю и не вижу, почему я должен его уважать. К чему было являться сюда и пороть всю эту дичь насчет братства и космического секса? Это дело касается меня и Лиззи, ты тут ни при чем, я уязвлен даже тем, что она тебе об этом рассказала. Пусть вы любите друг друга, как брат с сестрой, но сестры не на все просят разрешения у своих братьев. Звал я не тебя, а ее, с ней мы и решим, как нам быть, а твое дело – сторона. Если не уберешься, рискуешь нажать крупные неприятности.

Я говорил, а сам чувствовал, как во мне просыпается прежнее, знакомое чувство стяжателя, то желание схватить и не отдавать, которое в последнее время утихло и не применялось к моим мыслям о Лиззи. Может, то было чудо, а может – та самая «абстракция», за которую Лиззи меня корила. При этой мысли моя злость на Гилберта еще возросла. Он заставляет меня уточнить, огрубить побуждение, доселе столь великодушное и туманное. Пререкаться с ним было мелко и недостойно, но я уже не мог остановиться.

– Чарльз, мы не зайдем в твой забавный дом выпить по стаканчику?

– Нет.

– Ну, тогда я, с твоего позволения, посижу.

Гилберт поддернул брюки и аккуратно уселся на камень. Шляпу положил на траву и оглядел свои начищенные ботинки, на которые налипла грязь.

– Чарльз, дорогой, давай не будем волноваться. Помнишь, когда страсти накалялись, как ты, бывало, крыл нас почему зря, а потом вдруг переставал ругаться и говорил: «Ладно, мы как-никак живем по английским, а не по турецким законам»?

– Гилберт, отвяжись от меня, ради бога! Захочет Лиззи приехать, так приедет, а нет – так нет. Наших с ней отношений ты не понимаешь, не твоего это ума дело. И нечего приплетать сюда всякие бредни о чудесах и идеальной любви. В твои построения я не верю, по-моему, ты обманываешь себя, а заодно и Лиззи. Я даже начинаю усматривать мой долг в том, чтобы разгромить ваше злосчастное гнездышко. Так что ты меня не доводи. И убери к дьяволу руку с моего рукава.

– Дорогой мой, не поддавайся гневу, ты так меня пугаешь, я всегда...

– Наверно, мало пугаю.

– У тебя всегда был такой ужасный характер, и никому из нас это не шло на пользу. Ты-то думал, что это хорошо, но то была иллюзия. Здесь есть худший путь и есть лучший. Господи, да разве ты не прочел ее письмо?

– А она его тебе показала?

– Нет, но я знаю, что она тебе ответила.

– А мое письмо она тебе показывала?

– Мм... нет...

– С души воротит от всего этого.

– Чарльз, ты не можешь отнять у меня Лиззи, не будь же таким старомодным, ведь здесь речь не о примитивном сексе, ведь к браку ты отнесся бы с уважением, впрочем, может быть,

и нет, но ты обязан поверить Лиззи и хотя бы к ней отнестись с уважением, это священный союз, она меня не бросит, она это тысячу раз говорила...

– Женщина может солгать и тысячу раз.

– Лиззи права, ты презираешь женщин.

– Она это говорила?

– Да. И она думает, что ты шутишь. Отнять у меня Лиззи ты не можешь, но ты можешь все испортить, можешь добиться, что она сойдет с ума от горя и сожалений, что она опять в тебя влюбится, униженно, безнадежно, что мы оба исстрадаемся...

– Гилберт, замолчи. Я не намерен ни подыгрывать тебе, ни участвовать в твоём кривлянье. Можешь бредить и кривляться без меня. Почему Лиззи не захотела сама приехать и сказать мне, что она думает, чего хочет? Она боится меня увидеть, потому что любит меня.

– Чарльз, милый, ты знаешь, как я с тобой считаюсь, ты способен начисто лишить меня душевного покоя...

– К чертям собачьим твой душевный покой...

И тут появилась Лиззи. Она возникла как темный мазок в углу моего глаза, под вечерним солнцем, и я знал, что это она, еще до того, как оглянулся. А едва я ее увидел, прежняя грешная жажда обладания взыграла во мне, и я понял, что битва окончена. Но я, разумеется, не выдал своих чувств, изобразив только легкую досаду.

Гилберт подобрал свою шляпу и нахлобучил низко на лоб. Он сказал Лиззи:

– Ты же обещала, ты говорила, что не хочешь, ах, зачем только я взял тебя с собой...

Я видел Лиззи, но смотрел мимо нее, на море, такое синее и спокойное после идиотского тьякванья нашей с Гилбертом перепалки. Я повернулся и пошел по шоссе, а потом соскочил на камни и полез как мог быстрее в сторону башни. И сразу же услышал за спиной негромкое прерывистое топотание Лиззи. Она показала хороший класс, если учесть, что я знал здесь каждый камень, а она нет, – добралась до лужайки у башни очень скоро после меня, запыхавшаяся, с оторванным ремешком от босоножки. Оглянувшись, я увидел, что и Гилберт пустился в путь по скалам, оступается и скользит в своих начищенных лондонских ботинках. Вот он провалился в расщелину. Издали было слышно, как он ноет и чертыхается.

Я вошел в башню, Лиззи за мной, и мы очутились одни в зеленоватом свете, под круглым белым глазом неба, в прохладной траве. Влажный воздух внутри башни влияет на растительность, и трава здесь была выше и сочнее, росли одуванчики, и глухая крапива только что расцвела белыми цветами.

На Лиззи было очень тонкое белое бумажное платье, прямое, как рубашка, сумочку она крепко прижимала к груди и слегка поеживалась. Она, кажется, немного похудела. Ее курчавые коричнево-каштановые волосы были распущены и растрепались, под ветром сквозь них просвечивала белая кожа. Щеки ее пылали, но стояла она очень прямо, глядя на меня, стиснув терракотово-розовые губы, и вид у нее был храбрый, как у благородной героини перед казнью. Она тоже постарела, выглядела, во всяком случае, много старше, чем та светлая, дразнящая девочка-мальчик, какой я ее лучше всего помню. Но в лице ее была сдержанная внимательная зоркость, благодаря чему оно приобрело определенность и осталось красивым – этот крутой лоб, и от него смелая линия к короткому, но не вздернутому носику. Ее ясные светло-карие глаза покраснели от недавних слез. Я смотрел на нее, чувствовал себя победителем и ликовал, но вид принял суровый.

Лиззи опустила глаза, придержалась рукой за стену, чтобы снять разорванную босоножку, и встала голым ногой на траву. Потом сказала:

– Ты знаешь, что там в скалах есть стол?

– Да, это я его туда убрал.

– А я подумала, может быть, его выбросило море.

Я смотрел на нее и молчал.

Через секунду она прошептала:

– Мне так жаль... прости, прости.

Я сказал:

– Значит, вы с Гилбертом обсуждали меня?

– Да ничего важного я ему не говорила...

Она посмотрела на свою босую ногу, пошевелила ею белые цветы крапивы.

– Лгунья.

– Нет, я не...

– Тогда, значит, ты лгала ему?

– Ой, не надо, не надо...

– Почему ты не хотела меня видеть?

– Боялась.

– Боялась любви?

– Да.

Мы оба стояли одеревенев, а ветер, врываясь в проем двери, трепал ее платье и мою белую рубашку.

Я вспомнил ее целомудренные, сухие, льнущие поцелуи и возжаждал их. Мне хотелось схватить ее в объятия и громко хохотать от победного ликования. Но я не шелохнулся и, когда она чуть подалась ко мне, остановил ее быстрым движением.

– А теперь уезжай – обратно в Лондон, с Гилбертом.

– Чарльз, пожалуйста...

– Что «пожалуйста»? Милая Лиззи, я не хочу никого обижать, но я хочу, чтобы была полная ясность. Всегда этого хотел. Не знаю, что мы сейчас можем сделать и чем можем быть друг для друга, но выяснить это можно, только если мы оба будем до конца откровенны. Мне нужно твое безраздельное внимание, делить тебя я ни с кем не намерен, я поражен тем, что ты об этом просишь! Если хочешь видеть меня, избавься от Гилберта, но уж тогда окончательно. Если хочешь остаться с Гилбертом, тогда ты меня больше не увидишь, я не шучу, больше мы не встретимся никогда. Как будто ясно. Ты дай мне знать поскорее, хорошо? А теперь, пожалуйста, уезжай, твой друг заждался.

Лиззи, снова стиснув сумку на груди, заговорила очень быстро:

– Мне нужно время... я не могу так сразу бросить Гилберта, не могу, не могу я сделать ему так больно, ты пойми... люди не понимают, они так гадко обошлись с нами, но ты-то должен понять, и тогда ты увидишь...

– Лиззи, не говори глупостей, ты раньше не была глупой, я не желаю «понимать» твое положение, это дело твое. Но ты должна либо покончить с этим и прийти ко мне, либо не покончить и не прийти ко мне.

– Ох, Чарльз, милый, милый...

Она вдруг повернулась, и тело ее из деревянного стало телом танцовщицы. Она отшвырнула сумку в траву и в следующее мгновение была бы в моих объятиях, но я сделал шаг назад и опять не допустил этого.

– Нет, не нужны мне твои поцелуи. Уезжай и подумай.

Упали первые капли дождя, и на ее платье появились длинные темные пятнышки. Она коснулась руками пылающих щек и, продолжая начатое движение, стремительно нагнулась и подняла сумку.

– Ну, теперь беги, девочка. Не хочу я с тобой ни путаных объяснений, ни споров. До свидания.

Со слабым стоном она отвернулась от меня и выбежала из башни.

Я переждал немного, а когда вышел, она уже подбегала к шоссе. Там, на траве, передом к Вороновой бухте стоял теперь желтый «фольксваген». Из него выскочил Гилберт и

открыл заднюю дверцу. Лиззи юркнула в машину. Обе дверцы хлопнули, и машина рванулась за поворот. Минуты через две она показалась на дороге к отелю. Я смотрел, пока она не миновала отель и не скрылась, когда дорога свернула прочь от моря. А тогда вернулся в башню и подобрал разорванную босоножку. Лиззи, пока добиралась до шоссе, наверняка поранила ногу.

С тех пор прошло два часа, я сижу в красной комнате. Я только что дописал свой отчет о посещении Лиззи в виде новеллы, и изложить его в такой форме оказалось почему-то волнительно и приятно. Жаль, что нет времени записать всю свою жизнь вот так, по кусочкам, а стоило бы. Приятные куски стали бы приятны вдвойне, смешные куски – еще смешнее, а грех и горе смягчились бы в свете философских утешений.

Свидание с Лиззи разбередило меня, и я не уверен, умно или глупо себя держал. Конечно, если б я заключил бедную Лиззи в объятия, все бы разрешилось в ту же секунду. В то мгновение, когда она отшвырнула свою сумку, она была готова уступить, пойти на любые условия, пообещать все что угодно. И как мне этого хотелось! Это призрачное объятие осталось при мне как несостоявшаяся радость. (Должен признаться, что, после того как я ее увидел, мои идеи стали куда менее «абстрактными».) Но поступил я, пожалуй, разумно и доволен тем, что проявил твердость. Если б я в ту минуту принял Лиззи, согласился бы на ее согласие, проблема Гилберта все же не была бы разрешена, а избавляться от него пришлось бы мне самому. Гораздо лучше предоставить это Лиззи, и пусть поторопится, хотя бы из страха потерять меня. Я хочу, чтобы вся ситуация прояснилась и была зачеркнута, а пока предпочитаю о ней не думать. Не придаю я значения и второму «возражению» Лиззи, высказанному в ее письме, – ее страху, как бы я не разбил ей сердце! Эта опасность ее не остановит. Сдается мне, что это был только предлог, лишний аргумент ради выигрыша времени. Она, вероятно, сразу поняла, что придется ей дать Гилберту отставку, а это, при его слезливом упорстве, могло показаться ей трудной задачей. Неужели я в самом деле такой донжуан? Если сравнить с другими – конечно же нет.

Что касается моей суровой тактики с Лиззи, то я, собственно, ничем не рискую. Если она будет слишком тянуть, приеду и увезу ее. Если опять начнет отнекиваться, не стану слушать. Мои угрозы насчет «больше никогда» – это, конечно, пустые слова, но она-то воспримет их всерьез. Если в конце концов она все-таки решит отказаться от меня, то этим только докажет, что она меня недостойна. Несмотря ни на что, я ведь могу обойтись без Лиззи. Не хочет – не надо.

Пройдусь-ка я по берегу в отель «Ворон» и закажу вина – пусть пришлют. Если понравится меню, может быть, даже останусь там пообедать. Я уже немного проголодался. Что-то мне вдруг стало весело, наверно, все будет хорошо.

Вскоре после этого произошло нечто в высшей степени нелепое, а потом... но сперва...

Я пошел в отель «Ворон», заказал партию вина и купил бутылку какого-то испанского красного, чтобы взять с собой. Меню обеда оказалось малоинтересным, но я был так голоден, что толкнулся в ресторан, однако официант не пустил меня, потому что я был без галстука. Я хотел было назвать себя, но раздумал; пусть узнают сами, да будет поздно. Мимходом я взглянул на себя в зеркало: рубашку я укротил, но вид у меня действительно был как у бродяги – грязные джинсы, отросшие нечесанные волосы и старая вязаная кофта, надетая наизнанку. Я потопал домой.

В отель я прогулялся с удовольствием, но теперь стало темнеть и похолодало, а к тому времени, как я подходил к дому, солнце село, хотя в небе еще оставалось много света – облака рассеялись, оставив приглушенную лазурь. Огромная вечерняя звезда блестела над морем, близко от нее висела бледная матовая луна, слабыми точками загорались другие звезды.

Крупные летучие мыши мелькали над скалами. Проходя мимо Миннова Котла, я слышал, как в нем ревет вода. К дому я подходил по дамбе, держа бутылку в одной руке.

Дом, конечно, не был освещен изнутри, но в светящихся сумерках его узкий высокий силуэт эффектно выделялся на фоне неба. Когда я дошел до середины дамбы, мне показалось, что в одном из нижних окон что-то движется. Я застыл на месте. Смотреть на дом было трудно – слишком ярким было небо позади него, я никак не мог сосредоточить на нем взгляд. В глазах двоилось, но я уже был уверен, что не ошибся: что-то двигалось в доме, в книжной комнате. Моргая, я очень медленно пошел вперед. И вдруг увидел, всего на миг, но совершенно ясно, что у окна, глядя наружу, стоит темная фигура. Фигура растворилась в темноте комнаты, а я словно ослеп. Я выронил бутылку, она скользнула по отвесному скату дамбы и с тихим звоном разбилась о скалы. Я поспешно вернулся по дамбе на шоссе.

В доме кто-то есть. Что делать? Теперь мне было слышно мягкое шуршание волн, словно кто-то легонько скребет ногтями по мягкой поверхности. И на пустом темнеющем шоссе я с содроганием осознал полное свое одиночество, свою незащитность среди этих безмолвных скал, у поглощенного собой, безучастного моря. Я подумал, не вернуться ли в отель и там переночевать, но решил, что это глупо, и дадут ли еще мне номер, когда я в таком растерзанном виде и без единого чемодана. Потом подумал, что можно пройти дальше, в деревню, в «Черный лев», но... какой смысл? Друзей у меня в деревне нет. И тут пришла новая, совсем уже пугающая мысль: я не решусь двинуться куда бы то ни было в этой сгущающейся тьме, по этой ужасной безлюдной дороге. Идти некуда, кроме как в дом.

Я медленно двинулся обратно по дамбе. Кухонную дверь я оставил открытой, а парадная заперта, придется, значит, обойти дом снаружи. И сколько времени уйдет на то, чтобы найти спички, зажечь лампу? Если в доме кто-то есть, он услышит, как я пробираюсь к черному ходу, и будет меня там ждать. Глупо, если меня со страху пристукнет какой-то грабитель! Я помедлил, но все же пошел, потому что теперь снаружи было страшнее, чем могло быть внутри, а пуще всего я страшился собственного страха и жаждал от него избавиться. Возможно, все это мне вообще только померещилось из-за обманчивого освещения и скоро я уже буду с аппетитом ужинать и смеяться над собой.

Я вспомнил, где лежит электрический фонарик – на полке за дверью, сразу как войдешь в кухню, и представил себе, где стоит лампа и рядом с ней спички. Бросив последний взгляд на небо, еще залитое тусклым светом, я взялся за ручку двери, стараясь погромче шуметь. Ввалился в кухню, дверь оставил отворенной, нашел фонарик, потом лампу и спички. Зажег лампу и подкрутил повыше фитиль. Тишина. Я крикнул: «Эй, кто тут есть?» Дурацкий испуганный возглас эхом отдался в доме. Тишина.

Держа лампу в поднятой руке, я вышел в прихожую, потом быстро прошел в ту комнату, где видел «фигуру». Пусто. Обошел остальные комнаты на нижнем этаже. Ничего. Подергал парадную дверь. Заперта. Стал совсем уж медленно подниматься по лестнице. С самого приезда сюда я смутно чувствовал, что если в доме обитает какая-нибудь нечисть, то самое подходящее для нее место – длинная верхняя площадка. И теперь, когда до верха оставалось всего несколько ступенек, я вдруг услышал дробное постукивание – кто-то отодвинул занавеску из бус.

Я остановился. Потом машинально двинулся дальше, разинув рот, выпучив глаза. Дойдя до площадки, я поднял лампу повыше и взгляделся в открывшееся передо мной пространство, где свет лампы и последние отблески наружного света, проникающего из открытой двери спальни, сливались в густое туманное марево. Я различил черную нишу в стене, контур арки, несчетные точки – бусы занавески. А потом внезапно у дальней стены, между занавеской и дверью во внутреннюю комнату, увидел темную, неподвижную женскую фигуру. Первой, очень четкой мыслью было, что передо мной привидение, призрач-

ная хозяйка этого дома, наконец-то! У меня вырвался сдавленный хрип, я готов был бежать обратно вниз, но не мог сдвинуться с места. Лампу я не выронил.

Фигура пошевелилась. Это был не призрак, а живая женщина. Вот в ней проступило что-то знакомое. Вот в свете лампы я увидел ее лицо. Это была Розина Вэмборо.

– Добрый вечер, Чарльз.

Меня еще трясло, но страх быстро улечивался. Я испытывал одновременно острое облегчение и накапливающую злость. Хотелось громко выругаться, но я молчал, стараясь выровнять дыхание.

– Что это, Чарльз, ты весь дрожишь. Что случилось?

Когда Розина не на сцене (если про такую женщину можно сказать, что она вообще когда-нибудь бывает не на сцене), она говорит с легким своеобразным акцентом, надо полагать – валлийским.

В доме было страшно холодно, и на секунду мне показалось, что я ненавижу его, а он меня.

– Что ты здесь делаешь, как ты очутилась в моем доме?

– Зашла навестить тебя, Чарльз.

– Ну так разреши проводить тебя за порог.

Я спустился в кухню и зажег вторую лампу. Прошел в красную комнату и поднес спичку к растопке в камине. Проснулся голод, на время заглушенный страхом. Я вернулся в кухню, зажег газ, чтобы стало теплее, и выставил на стол стакан, тарелку, хлеб, масло и сыр и бутылку вина. Розина вошла следом за мной и стала у плиты.

– Ты не предложишь мне выпить, Чарльз?

– Нет. Уходи. Я не люблю, когда врываются ко мне в дом и затевают игру в привидения. Так что уходи. Я не хочу тебя видеть.

– И не хочешь узнать, зачем я приехала, Чарльз?

В этом повторении моего имени было что-то гипнотическое и угрожающее.

– Нет.

– А ведь ты удивлен, заинтригован.

– Я не видел тебя и не слышал о тебе два года, нет, три, да и то мы, кажется, встретились у кого-то в гостях. А теперь вдруг такое несусветное явление. Или оно задумано как веселая шутка? По-твоему, я должен был тебе обрадоваться? Ты в моей жизни инородное тело, так что прошу тебя – исчезни.

– Насчет инородного тела это ты, знаешь ли, ошибаешься. Да, ты испугался, Чарльз. Как интересно, прямо-таки откровение, до чего легко запугать людей, сбить их с толку, затравить, так что они уже себя не помнят от страха и жизни не рады. Недаром диктаторы процветают.

Я сел, но при ней был не в состоянии ни есть, ни пить. Розина нашла стакан, налила себе вина и села за стол напротив меня. Мне все еще было холодно от злости и тошно от пережитого страха, но теперь, когда я заморил червячка, меня и правда стало разбирать любопытство – что за странное проявление ее личности? Да и как от нее избавиться, если она не желает уходить? Не разумнее ли умиловить ее, чтобы ушла по своей воле? Я стал на нее смотреть. На свой лад, до крайности самобытный, она, безусловно, была необычайно красивой женщиной.

– Милый Чарльз. Я вижу, ты приходишь в себя. Вот и хорошо, ужинай на здоровье. *Von appétit*¹⁷.

На Розине была теплая черная накидка с прорезями, сквозь которые она продела обнаженные до локтя руки. Пальцы ее были унизаны кольцами, браслеты на запястьях поблески-

¹⁷ Приятного аппетита (*фр.*).

вали, когда она легонько сводила кончики пальцев. Ее жесткие темные волосы, сейчас почти черные, были уложены на голове каким-то подобием греческого венца. Либо она их отрастила, либо надставила фальшивыми косами. Лицо было густо накрасшено, все в розовых, красных, голубых и даже зеленых мазках, и в круге неяркого света от лампы напоминало индейскую маску. Это было некое красивое уродство. Рот, удлинненный помадой, был огромный и влажный. Косящие глаза метали в меня яростные стрелы. Она играла роль, изображала сдерживаемые страсти, что актерам кажется верхом искусства, а для зрителей далеко не всегда убедительно.

– Клоун, да и только, – сказал я.

– Вот это уже лучше. Это как в прежние времена.

– Поесть хочешь?

– Нет, я сытно закусила с чаем у себя в отеле.

– В отеле?

– Ну да, я остановилась в «Вороне».

– В самом деле? А я там сегодня был. Меня не пустили в ресторан.

– Это понятно. Вид у тебя как у нищего школяра. Морской климат пошел тебе на пользу.

Выглядишь на двадцать лет. Ну, на тридцать. Я слышала, как тебя обсуждали в баре. Ты, видно, всем здесь успел досадить.

– Быть того не может. Я ни с кем не знакомился...

– Я могла бы тебе заранее сказать, что деревня – наименее спокойное и уединенное местожительство. Самое спокойное место для отшельника – квартира в Кенсингтоне.

– Ты хочешь сказать, что официант меня не пустил, хотя знал, кто я такой?

– Ну, может быть, он тебя не узнал. Не так уж ты знаменит. Я куда знаменитее тебя.

Это была правда.

– Звезды всегда более знамениты, чем те, кто их создает. Можно узнать, что ты делаешь в отеле «Ворон»?

– Приехала к тебе в гости.

– И давно ты здесь?

– Давным-давно, неделю, не помню точно. Мне хотелось за тобой понаблюдать. Я подумала, что забавно было бы нагнать на тебя суеверного страху.

– Суеверного? Ты хочешь сказать...

– Неужели ты ничего такого не чувствовал? Правда, сделала я не так уж много. Никаких тыков со свечкой внутри, никаких саванов...

Я чуть не закричал от облегчения и ярости:

– Так это ты? Это ты разбила вазу и зеркало, это ты тут рыщешь по ночам и подглядываешь за мной...

– Вазу и зеркало я разбила, но по ночам не рыскала, в полной темноте я бы сюда не пришла, в этом доме и днем-то жутко.

– Да нет, рыскала и смотрела на меня в окошко из внутренней комнаты.

– Ничего подобного. Не было такого. Это, наверно, какое-то другое привидение.

– Нет, было. Кто-то был. Как ты проникла в дом?

– А ты не запираешь нижние окна, и, между прочим, напрасно.

Вот тут, пока я смотрел на нее, мне было видение. Словно лицо ее внезапно исчезло, стало дырой, и сквозь эту дыру я увидел змеиную голову, и зубы, и розовую пасть моего морского чудовища. Это длилось секунду. Вероятно, это было даже не видение, а мысль. Нервы у меня еще не успокоились. Я опять услышал шум моря, теперь уже громче. Но поскольку я не мог обвинить Розину в том, что она натравила на меня морское чудовище, я счел за благо об этом умолчать.

– Но зачем ты меня преследовала? И почему вдруг решила себя обнаружить?

– Я сегодня видела в деревне Лиззи Шерер.

– Да, она здесь была и уехала. Но при чем это? Убей, не понимаю, какая тут связь.

– Неужели не понимаешь, Чарльз? Неужели забыл? Ну так я тебе напомним.

Розина положила ладони на стол и нагнулась ко мне. Ее длинные темно-лиловые ногти упирались на меня, как маленькие копыта. Браслеты скребли по деревянному столу.

– Неужели забыл? Ты ведь обещал, что если когда-нибудь женишься, то женишься на мне.

Я снова почувствовал страх, холодный, сосущий, вторжение в мою жизнь чего-то непредвиденного и опасного. Раздражающе синие глаза Розины сверкали, искрились ее кольца. А сказала она чистую правду. Я ответил небрежным тоном:

– Разве? Я уже забыл. Наверно, был пьян. Во всяком случае, я не собираюсь жениться.

– Да? А еще ты обещал, что если решишь с кем-нибудь съехаться окончательно, так со мной.

Это, к сожалению, тоже была правда.

Розина улыбнулась. Зубы у нее не совсем ровные, длинные и белые, и в улыбке она иногда сводит нижние зубы с верхними, а губы оттягивает назад. Зрелище малопривлекательное.

– Ты не был пьян. И ты не забыл, Чарльз.

Я пытался сообразить, какой тактики держаться с этой опасной женщиной. Вот уж не ожидал, что она вновь появится в моей жизни. Но теперь, когда это случилось, я отдал должное ее стилю. Разбитая ваза, расколотое зеркало – все это было не зря. Но зачем эти напоминания именно сейчас, что послужило толчком? Ответ надо искать в ее словах о Лиззи, но я, к сожалению, не успел их обдумать. Если все дело в этом, может быть, сказать ей, что приезд Лиззи ровно ничего не значит? Этим только оттянешь кризис, характер которого я только что начал прозревать. Неужели я в своих недавних размышлениях о Лиззи бессознательно предполагал, что она может стать для меня постоянной подругой жизни? Возможно. Думал ли я всерьез о том, чтобы жениться на Лиззи? Нет. Но запугивание Розины невыносимо, попросту нагло. Нет, лучше сразу выказать бескомпромиссную твердость.

– Ну, знаешь, хватит. Что именно я говорил – не помню, но то был эмоциональный вздор под влиянием минуты, и тебе это отлично известно. Так себя не связывают, и я не связан. Никакое это было не обещание, просто слова.

– Обещания и есть слова. Ты связан, Чарльз. Связан.

Она повторила это слово тихо, проникновенно.

– Розина, не болтай глупостей. Мало ли что говорят в любовном угаре. Ну, если хочешь, можно сказать по-другому: да, я обещал, но нарушу обещание, как только найду нужным, все так делают.

– Так ты на ней женишься?

– На ком? Ты что имеешь в виду? Ты про Лиззи?

– Так это правда?

– Нет, конечно. Я на ней не женюсь.

– Так ты на ней не женишься?

– Розина, отстань от меня. И с чего это тебе взбрело в голову?

– Ну, это просто. – Розина щелкнула пальцами. – Она сама раззвонила. Всем и каждому сообщает, что ты без конца делаешь ей предложение.

Этому я, конечно, не поверил.

А Розина продолжала:

– Гилберт Опиан изо всех сил сколачивает против тебя некую клику. Очень весело, все в восторге.

Гилберт – вот кто всему виной.

– А ты, скорее всего, и не знал, что Лиззи живет с Гилбертом. Еще один сюрприз. Кроме тебя, все знали. Если тебя не интересует, с кем она живет, значит ты не интересуешься ею достаточно для того, чтобы на ней жениться.

– Да не собираюсь я на ней жениться.

– Ты уже сказал это два раза.

– То есть я... Ох, Розина, уйди. И они не любовники.

– Ты в это веришь?

– То есть я поступлю так, как захочу.

– С кем жила я, это ты всегда знал.

– Не обольщайся. Мне решительно все равно, чем ты занимаешься и с кем живешь, лишь бы ко мне не приближалась. Марш отсюда.

Розина не сдвинулась с места, только протянула руку через стол и длинным острым ногтем среднего пальца коснулась рукава моей рубашки. А потом я почувствовал, как ее ноготь вонзился мне в руку. Я не вздрогнул, не шелохнулся.

– Ты ничего не понял, – сказала она. – Зачем, по-твоему, я к тебе пришла? Я не для того забиралась в твой дом и все тут крушила, чтобы позабавиться, а потом посмеяться вместе с тобой. Слушай внимательно. Женишься ты на мне или нет – не знаю. Но я не допущу, чтобы ты женился на ком-нибудь еще. Обещал – так держи слово.

– Это не в твоих силах. Ты живешь в выдуманном мире.

– О, ты можешь официально сочетаться браком или выбрать себе постоянную подругу, но «жить счастливо до самой смерти» ты не будешь. Если ты опять сойдешься с Лиззи, я исковеркаю твою жизнь, как ты исковеркал мою. Тебе от меня не скрыться. Я всегда буду с тобой, буду в твоих мыслях день и ночь, стану демоном и твоей, и ее жизни. Она горько пожалеет, что вообще тебя встретила. Запугивать людей очень легко. Я это знаю, Чарльз, пробовала. И калечить людей легко, и лишать их душевного покоя, и убивать их радость. Я не потерплю твоего брака, Чарльз. Если ты женишься на Лиззи или осядешь с ней прочно, я поставлю себе целью отравить твою жизнь, и это будет очень легко.

Она отняла руку. На рукаве моей рубашки выступило пятнышко крови. То не были бредовые выкрики ревнивой женщины. То была ненависть, а ненависть способна умерщвлять, у нее своя магия. Розина обладала и волей и силой, чтобы привести свою угрозу в исполнение. И при этой мысли меня кольнула догадка, что именно за эту черную волю, только иначе направленную, я и полюбил ее когда-то. Она уже опять улыбалась, обнажив свои белые рыбы зубы.

Я заговорил рассудительным тоном, который не обманул ее, потому что она чувствовала, что мне страшно:

– Угрозы твои несколько преждевременны, но, если ты почему-либо решишь меня изводить, я в долгу не останусь. К чему тебе затевать войну, к чему тратить силы и время? Ведь это ненависть, а не любовь. Ты же разумная женщина. Забудь это. К чему растравлять себя приступами взбалмошной ревности?

Последние слова были серьезной ошибкой. Розина стукнула ладонями по столу, и глаза ее засверкали от бешенства.

– И ты еще смеешь говорить о ревности! Как будто мне есть дело до этой дурочки, за которой ты бегаешь! Да, ты ради нее бросил меня, меня, и я этого не забыла. Я бы могла исколечить ее или довести до психоза, но я знала, что она тебе надоест, и так и вышло, тебе ведь все надоедают. Ты разрушил мой брак, из-за тебя у меня нет детей, из-за тебя я порвала со всеми друзьями. А когда ты умолил меня уйти от мужа и я от него ушла, ты покинул меня ради этой куклы. Неужели ты забыл, какая у нас была любовь? Неужели не помнишь, почему произнес те слова?

– К счастью, любовные встречи забываются, как забываются сны.

– У тебя никогда не было ни на грош воображения, потому ты и пьесы не мог писать. Ты бесчувственный, равнодушный человек. Тебе нужны женщины, но те, кто тебе нужен, тебя не интересуют, поэтому ты и не знаешь людей. Романы у тебя были, но ты остался каким-то невинным, впрочем, нет, не невинным, ты по натуре порочен, но каким-то незрелым. Твоей первой любовницей была твоя мать, Клемент похитила у нее младенца. Но неужели ты не понимаешь, что все это был мираж? Женщины любили тебя за власть, за магию, да, ты был чародей. А теперь это кончилось. Только я одна любила тебя ради тебя самого, а не за твою непобедимую мощь.

– Эта речь прозвучала бы более внушительно, если бы ты произнесла ее раньше, а не тогда, когда до тебя дошли какие-то слухи про Лиззи!

– А я хотела сперва убедиться, правда ли ты отрекся от мира или только хвастал. Я хотела, чтобы ты остался один как перст. Тогда, возможно, ты был бы почти достоин меня. Дура я была, что вообразила, будто смогу когда-нибудь восхищаться в тебе не только этим дешевым чародейством. Но как бы там ни было, обещание ты мне дал в минуту истины, в минуту абсолютной любви, какие редко выпадают на долю мужчине. И это обещание – мое, единственное, что я имею взамен моего разбитого брака и всей той любви, которую я излила на тебя, только на тебя из всех мужчин. Обещание это мое, и я буду его хранить, даже если никак не смогу им воспользоваться, кроме как обратив твою жизнь в выжженную пустыню.

Я рывком встал, и она вся напряглась, даже подняла свои сверкающие руки, словно когтистые лапы. Словно балерина, играющая кошку.

– Вот что я тебе скажу, моя косоглазая красавица: время позднее, отправляйся-ка ты к себе в отель «Ворон». Я иду спать. И прошу тебя больше не рыскать по этому дому, ничего не разбивать и не подглядывать за мной. У меня нет никаких матримониальных планов, и ни с какой женщиной я не намерен связать свою судьбу.

– Клянешься?

– Все это твоя фантазия. Лиззи живет с Гилбертом, и точка. И разумеется, я не делал ей предложения, это просто идиотские слухи. Ну же, уходи, я смертельно устал, да и ты, наверно, тоже после такого-то длинного спектакля.

Она встала и плотно запахнулась в свою накидку, стиснув перед собой руки, продетые в прорези. Минуту она жгла меня взглядом.

– Я уйду. Но скажи, что ты веришь тому, что я сказала.

– Отчасти верю.

– Скажи, что веришь.

– Верю, верю. Ради бога, уйди.

Я взял лампу и пошел к парадной двери, и она пошла за мной. Я открыл дверь. Свет лампы озарил туман, который ждал у порога, как живое существо. В нескольких шагах ничего не было видно.

– Я посвечу тебе до шоссе, – сказал я и вернулся за электрическим фонариком. – Впрочем, надо, пожалуй, проводить тебя до отеля. О черт!

– Не нужно, – сказала она тусклым, безжизненным голосом. – Я с машиной.

Я пошел по дамбе, освещая дорогу. На шоссе туман был не такой густой.

– Где твоя машина?

– Вон там, за скалой.

Мы подошли, она села в машину. Я сказал:

– Прощай.

Она сказала:

– Не забудь.

Она включила фары, и я различил очертания низкого красного двухместного автомобиля. Задним ходом Розина вывела его на дорогу, развернулась и двинулась в сторону отеля,

и тут из тумана вдруг возникла какая-то фигура – кто-то шел по шоссе. Розина с силой нажала на акселератор, машина скакнула вперед, и на мгновение фигура, вдавившаяся спиной в скалу, оказалась в свете фар. Скрежет, машина вильнула и с ревом унеслась прочь. Я уронил фонарик в траву и остался в темноте.

Проходим, на которого Розина чуть не наехала, была та старая женщина из деревни, что чем-то напомнила мне Хартли. Сейчас, в короткой вспышке света, я ее увидел. Эта старая женщина не была похожа на Хартли. *Это была сама Хартли.*

История 2

И вот теперь в Лондоне я пишу о появлении Розины и о том, что случилось сразу после ее отъезда. Когда ее машина умчалась, я остался стоять в полном шоке, в состоянии почти созерцательном, когда уже нет ни пространства, ни времени. Я был парализован. Непонятно, как я устоял на ногах, до того сокрушительным было мое открытие. В первую секунду я, сам не знаю почему, воспринял его именно так – не как нечто нежелательное или страшное, а только как невозможное, которое сбылось, как конец света, который мы не в силах вообразить. Это и в самом деле был конец света. Помню, как потом я медленно протянул руку, чтобы опереться о скалу. Когда я смог наконец пошарить в траве и поднять фонарик, я уже знал, что Хартли здесь нет – либо она ушла далеко вперед по шоссе, либо сокращает путь, свернув по тропинке полями. Да я и не был уверен, в какую сторону она шла, когда ее осветили фары. Я был так оглушен, что не мог даже сразу решить, что мне делать. Заспешил было по направлению к деревне, остановился. Мне в голову не пришло окликнуть ее. Я и имя-то ее едва помнил, оно вырвалось бы у меня, как во сне, невнятным мычанием. Заспешил обратно и зачем-то стал водить фонариком во все стороны, осматривая то место, где видел ее. Тонкий луч осветил следы колес, примятую траву, желтую рябую поверхность скалы, волны тумана. Наконец я медленно, как возвращаются с похорон, двинулся по дамбе обратно к дому. Лампы в кухне еще горели, в красной комнате топился камин. Все было тихо, ничего не изменилось с тех пор, как я, миллионы лет тому назад, разговаривал здесь с Розиной.

Я весь дрожал. Ни пить, ни есть было невыносимо. Я пошел в красную комнату и сел у огня. Она вдова? Почему-то этот нестерпимый вопрос сложился как-то сразу, в самый первый ужасный миг узнавания. Ужасный не потому, что она так изменилась, а потому, что я понял: все вокруг меня лежит в развалинах, все прежние оценки сметены, все грозные возможности открыты. Что мне вскоре предстоит жестоко страдать – об этом я, кажется, в ту минуту не подумал. Не предчувствие страданий меня потрясло, а ощущение самой перемены. Я мучился настоящим, как, вероятно, мучится насекомое, выбираясь из куколки, или плод, пробивающий себе путь из утробы на свет божий. Не было это и уходом в прошлое. Память словно оказалась ни при чем. Это было качественно новое существование.

В конце концов я лег и тотчас уснул мертвым сном. До этого у меня сложилось в сознании еще несколько простых мыслей или вопросов. «Она вдова?» – стучало так неотступно, что было, в сущности, даже не вопросом, а воздухом, которым я дышал. Я спрашивал себя, видела ли она меня в деревне, и если видела, то узнала ли? Я-то видел ее издали несколько раз. О господи, какой ужас, я видел ее и не узнал. Но меня нельзя было не узнать, ведь я почти не изменился. Так почему она со мной не заговорила? Может быть, случайно не заметила, может быть, она близорука, может быть... и вообще, что она делает в этой деревне? Живет здесь постоянно или приехала отдохнуть? Может быть, завтра она исчезнет и больше никогда не появится? Куда она шла по приморскому шоссе так поздно вечером, в тумане? Мелькнула догадка: возможно, она работает в отеле «Ворон»? Но ей за шестьдесят, Хартли за шестьдесят. Я никогда не думал о том, что Хартли тоже стареет. Потом я спросил себя, увидела ли она меня в темноте, а если да, поняла ли, что я узнал ее? Потом подумал: она увидела меня с Розиной. Что она могла услышать, что мы тогда говорили? И не мог вспомнить. Потом решил, что она не могла меня увидеть, ведь я находился позади фар. А завтра – завтра я пойду искать ее, и буду искать, и найду, и тогда...

Наутро, едва проснувшись, я почувствовал себя в изменившемся мире. Ощущение ужаса отпустило, появилось новое беспокойное возбуждение, чисто физическая потребность ее присутствия, несомненный и яростный магнетизм любви. И еще просилась в душу вещая радость, словно за ночь я обрел некую благотворную силу, способность рождать

добро. Я мог добывать добро и наделять им других. Я был тем царем, что искал нищенку¹⁸. Я был способен преобразить, поднять до себя, одарить неслыханным счастьем и радостью. Боже мой, я приехал сюда, именно сюда, и здесь, вопреки всем вероятностям, я наконец нашел ее! Я приехал сюда в память Клемент и нашел Хартли. Но: *вдова ли она?*

Еще не было девяти часов, когда я пришел в деревню. Солнечное утро обещало жару. Я быстро обошел все улочки. Потом спустился к пристани и вернулся по тропинке, которая вела в гору, к коттеджам. Как только открылись лавки, заглянул в ту и в другую. Опять побродил по улицам. Зашел в церковь, совершенно пустую, и посидел, опустив лицо в ладони. Почувствовал, что могу молиться, мало того – что молюсь. Это было странно, потому что в Бога я не верю и не молился с детства. Я молился: сделай, чтобы я нашел Хартли, и чтобы она оказалась одна, и полюбила меня, и чтобы я сделал ее навеки счастливой. Сделать Хартли счастливой – это стало для меня самым заветным желанием, исполнение которого увенчает мою жизнь, придаст ей законченность и совершенство. Я все молился, а потом, видимо, заснул. Во всяком случае, я проснулся в безумном страхе, что потерял Хартли, потому что, пока я спал, единственная возможность найти ее появилась и пропала. Время ее отпуска истекло, она уехала домой, сбежала, скоростижно умерла. Я вскочил и посмотрел на часы. Только двадцать минут десятого. Я выбежал из церкви. И тут наконец увидел ее.

Я увидел, как полная пожилая женщина в бесформенном коричневом платье колоколом, с хозяйственной сумкой в руке очень медленно, как во сне, прошла по улице, мимо «Черного льва», к лавке. Эта женщина, которую я до того замечал лишь мельком, мимоходом, теперь преобразилась в моих глазах. Фоном ей служил весь мир. И между нею и мной, быть может в последний раз, проплыло видение – стройная длинноногая девочка с белыми ляжками. Я побежал.

Я догнал ее, подбежал к ней сзади, когда она только что миновала трактир, коснулся широкого коричневого рукава ее платья. Она остановилась. Я тоже. Я не мог выговорить ни слова.

Ее лицо повернулось ко мне – знакомое белое круглое лицо с загадочными лиловатыми глазами, и почти как рефлекс явилась утешительная мысль: это я могу понять, да, это та же самая женщина, и я вижу, что это она, та же самая.

Лицо Хартли, казавшееся сейчас совсем белым, выражало такой неподдельный ужас, что я бы и сам ужаснулся, не будь я занят лихорадочными, почти бессознательными поисками отдельных «сходств», какой-то возможности слить настоящее с прошлым. Да, это лицо Хартли, хотя изможденное и до крайности сухое и мягкое. Сеть тончайших морщинок тянулась от уголков глаз вверх ко лбу и вниз к подбородку, охватывая лицо как капор. Лоб прорчертили строгие горизонтальные складки, над верхней губой темнели волоски. Губы подмазаны влажной помадой, пудра на лице кое-где слиплась. Волосы поседели, завиты по моде и аккуратно причесаны. Но в форме лица и головы, в выражении глаз осталось что-то нетронутое, донесенное из прошлого в настоящее.

¹⁸ Намек на легендарного африканского царя Кофетуа, который полюбил нищенку и женился на ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.